

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

# АНТОН ЧЕХОВ

Рассказы  
1886



Im Werden Verlag  
München 2005

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРСОНА .....	3
ИВАН МАТВЕИЧ.....	5
ВЕДЬМА .....	8
ОТРАВА.....	15
РАССКАЗ БЕЗ КОНЦА.....	17
ШУТОЧКА.....	22
АГАФЬЯ.....	25
МОЙ РАЗГОВОР С ПОЧТМЕЙСТЕРОМ.....	30
ВОЛК.....	32
В ПАРИЖ!.....	36
ВЕСНОЙ.....	39
МНОГО БУМАГИ .....	42

## ПЕРСОНА

«Вакансия на должность писца имеется в канцелярии г. Податного Инспектора, на жалованье 250 руб. в год. Лица, окончившие по меньшей мере уездное училище или 3 кл. гимназии, должны обращаться письменно с приложением своего жизнеописания, адресуя прошение на имя г. Податного Инспектора в д. Поджилкиной по Гусиной улице».

Прочитав в двадцатый раз это объявление, Миша Набалдашников, молодой человек с прыщеватым лбом, с носом, красным от застарелого насморка, в брюках кофейного цвета, походил, подумал и сказал, обращаясь к своей мамаше:

— Кончил я не три класса гимназии, а четыре. Почерк у меня великолепнейший, хоть в писатели или в министры иди. Ну-с, а жалованье, сами видите, великолепное — двадцать рублей в месяц! При нашей бедности я бы и за пять пошел! Что ни говорите, а место самое подходящее, лучше и не надо... Только вот одно тут скверно, мамаша: жизнеописание писать нужно!

— Ну, так что ж? Возьми и напиши...

— Легко сказать: напиши! Чтоб сочинить жизнеописание, нужно талант иметь, а как его без таланта напишешь? А написать как-нибудь, зря, пятое через десятое, сами понимаете, неловко. Тут ведь сочинение не учителю подавать, а при прошении, в канцелярию вместе с документами! Мало того, чтоб было на хорошей бумаге и чисто написано, нужно еще, чтоб хороший слог был... Конечно! А то как вы думали? Ежели этак со стороны поглядеть на податного инспектора Ивана Андреича, то он не важная шишка... Губернский секретарь, шесть лет без места ходил и по всем лавочкам должен, но ежели вникнуть, то не-е-т, мамаша, это персона, важная личность! Видали, что в объявлении сказано? «Адресуя прошение»... Про-ше-ние! А прошения ведь подаются только значительным лицам! Нам с вами или дяденьке Нилу Кузьмичу не подадут прошения!

— Это так... — согласилась мамаша. — А на что ему понадобилось твое жизнеописание?

— Этого не могу вам сказать... Должно быть, нужно! Миша еще раз прочел объявление, заходил из угла в угол и отдался мечтам... Кто хоть раз в жизни сидел без места и томился от безделья, тот знает, как взбудораживают душу объявления вроде вышеписанного. Миша, с самой гимназии не съевший ни одного куска без того, чтоб его не попрекнули в дармоедстве, щеголявший в старых брюках дяденьки Нила Кузьмича и выходивший на улицу только по вечерам, когда не видно было его рваных сапог и облезлого пиджака, воспрянул духом от одной только возможности получить место. Двадцать рублей в месяц — деньги не малые. Правда, на них лошадей не заведешь и свадьбы не сыграешь, но зато их вполне достаточно, чтобы в первый же месяц, как мечтал Миша, купить себе новые брюки, сапоги, фуражку, гармонийку и дать матери на провизию рублей пять-шесть. Как бы там ни было, маленькое жалованье гораздо лучше большого безденежья. Но Мишу не так занимали двадцать рублей, как то блаженное время, когда мать перестанет колоть ему глаза его тунеядством и похо-

дя реветь, а дядюшка Нил Кузьмич прекратит свои нотации и клятвенные обещания выпороть племянника-дармоеда.

— Чем шморгать-то из угла в угол, — перебила его мечтания мамаша, — сел бы лучше да и сочинил...

— Не умею я, мамаша, сочинять, — вздохнул Миша. — Признаться, я уж раз пять садился за писанье, а ни черта у меня не выходит. Хочу писать по-умному, а выходит просто, словно тетке в Кременчуг пишешь...

— Ничего, что просто... Инспектор не взыщет... За мои матерние молитвы и терпение Господь смягчит его сердце: не рассердится, ежели что... Небось и сам-то он в твои годы не Бог весть как учен был!

— Пожалуй, еще попробую, только знаю, что опять ничего не выйдет... Хорошо, попробую...

Миша сел за стол, положил перед собой лист бумаги и задумался. После долгого таращенья глаз на потолок он взял перо и, раскачав кисть руки, как это делают все читатели собственного почерка, начал: «Ваше Высокоблагородие! Родился я в 1867 году в городе К. от отца Кирилла Никаноровича Набалдашника и матери Натальи Ивановны. Отец мой служил на сахарном заводе купца Подгойского в конторщиках и получал 600 рублей в год. Потом он уволился и долго жил без места. Потом...»

Дальше отец спился и умер от пьянства, но это уж была семейная тайна, которую Мише не хотелось сообщать Его Высокоблагородию. Миша подумал немного, зачеркнул все написанное и после некоторого размышления написал снова то же самое...

«Потом он скончался, — продолжал он, — в бедности, оплакиваемый женой и горячо любящим сыном, который у него был только я один, Михаил. Когда мне исполнилось 9 лет, меня отдали в приготовительный класс, за меня платил Подгойский, но когда отец уволился от него и он перестал за меня платить, я вышел из IV класса. Учился я посредственно, в I и III классе сидел по 2 года, но по чистописанию и поведению получал всегда пять». И т. д.

Исписал Миша целый лист. Писал он искренне, но бестолково, без всякого плана и хронологического порядка, повторяясь и путаясь. Вышло что-то размазанное, длинное и детски-наивное... Кончил Миша так: «Теперь же я живу на средства моей матери, которая не имеет никаких средств к жизни, а потому всепокорнейше прошу Ваше Высокоблагородие, дайте мне место, чтоб я мог жить и кормить мою болезненную мать, которая тоже просит Вас. И извините за беспокойство» (Подпись).

На другой день, после долгих ломаний и застенчивой нерешительности, это жизнеописание было переписано начисто и вместе с документами отправлено по назначению, а через две недели Миша, истомившийся от ожиданий, дрожа всем телом, стоял в передней податного инспектора и ждал гонорара за свое сочинение.

— Позвольте узнать, где здесь канцелярия? — спросил он, заглядывая из передней в большую скудно меблированную комнату, где на диване лежал какой-то рыжий человек в туфлях и в летней крылатке вместо халата.

— А что вам нужно? — спросил рыжий человек.

— Тут я... две недели тому назад прошение подал... о месте писца... Могу я видеть господина инспектора?

— Это просто возмутительно... — пробормотал рыжий, придавая своему лицу страдальческое выражение и запахиваясь в крылатку. — Сто человек на день! Так и ходят, так и ходят! Да неужели, господа, у вас другого дела нет, как только мне мешать?

Рыжий вскочил, расставил ноги и сказал, отчеканивая каждое слово:

— Тысячу раз говорил уж я всем, что у меня писец есть! Есть, есть и есть! Пора уже перестать ходить! Уж есть у меня писец! Так всем и передайте!

— Виноват-с... — забормотал Миша. — Я не знал-с... И, неловко поклонившись, Миша вышел... Гонорар — увы и ах!

## ИВАН МАТВЕИЧ

Шестой час вечера. Один из достаточно известных русских ученых — будем называть его просто ученым — сидит у себя в кабинете и нервно кусает ногти.

— Это просто возмутительно! — говорит он, то и дело посматривая на часы. — Это верх неуважения к чужому времени и труду. В Англии такой субъект не заработал бы ни гроша, умер бы с голода! Ну, погоди же, придешь ты...

И, чувствуя потребность излить на чем-нибудь свой гнев и нетерпение, ученый подходит к двери, ведущей в женину комнату, и стучится.

— Послушай, Катя, — говорит он негодующим голосом. — Если увидишь Петра Данилыча, то передай ему, что порядочные люди так не делают! Это мерзость! Рекомендует переписчика и не знает, кого он рекомендует! Мальчишка аккуратнейшим образом опаздывает каждый день на два, на три часа. Ну, разве это переписчик? Для меня эти два-три часа дороже, чем для другого два-три года! Придет он, я его изругаю, как собаку, денег ему не заплачу и вышвырну вон! С такими людьми нельзя церемониться!

— Ты каждый день это говоришь, а между тем он все ходит и ходит.

— А сегодня я решил. Достаточно уж я из-за него потерял. Ты извини, но я с ним ругаться буду, извозчицки ругаться!

Но вот наконец слышится звонок. Ученый делает серьезное лицо, выпрямляется и, закинув назад голову, идет в переднюю. Там, около вешалки, уже стоит его переписчик Иван Матвеич, молодой человек лет восемнадцати, с овальным, как яйцо, безусым лицом, в поношенном, облезлом пальто и без калош. Он запыхался и старательно вытирает свои большие неуклюжие сапоги о подстилку, причем старается скрыть от горничной дыру на сапоге, из которой выглядывает белый чулок. Увидев ученого, он улыбается той продолжительной, широкой, немножко глуповатой улыбкой, какая бывает на лицах только у детей и очень простодушных людей.

— А, здравствуйте, — говорит он, протягивая большую мокрую руку. — Что, прошло у вас горло?

— Иван Матвеич! — говорит ученый дрогнувшим голосом, отступая назад и складывая вместе пальцы обеих рук. — Иван Матвеич!

Затем он подскакивает к переписчику, хватая его за плечо и начинает слабо трясти.

— Что вы со мной делаете?! — говорит он с отчаянием. — Ужасный, гадкий вы человек, что вы делаете со мной! Вы надо мной смеетесь, издеваетесь? Да?

Иван Матвеич, судя по улыбке, которая еще не совсем сползла с его лица, ожидал совсем другого приема, а потому, увидев дышащее негодованием лицо ученого, он еще больше вытягивает в длину свою овальную физиономию и в изумлении открывает рот.

— Что... что такое? — спрашивает он.

— И вы еще спрашиваете! — всплескивает руками ученый. — Знаете, как дорого для меня время, и так опаздываете! Вы опоздали на два часа!.. Бога вы не боитесь!

— Я ведь сейчас не из дому, — бормочет Иван Матвеич, нерешительно развязывая шарф. — Я у тетки на именинах был, а тетка верст за шесть отсюда живет... Если бы я прямо из дому шел, ну, тогда другое дело.

— Ну, сообразите, Иван Матвейч, есть ли логика в ваших поступках? Тут дело нужно делать, дело срочное, а вы по именинам да по теткам шляетесь! Ах, да развяжите поскорее ваш ужасный шарф! Это наконец невыносимо!

Ученый опять подсказывает к переписчику и помогает ему распутать шарф.

— Какая вы баба... Ну, идите!.. Скорей, пожалуйста!

Сморкаясь в грязный скомканный платочек и поправляя свой серенький пиджачок, Иван Матвейч идет через залу и гостиную в кабинет. Тут для него давно уже готово и место, и бумага, и даже папиросы.

— Садитесь, садитесь, — подгоняет ученый, нетерпеливо потирая руки. — Несносный вы человек... Знаете, что работа срочная, и так опаздываете. Поневоле браниться станешь. Ну, пишите... На чем мы остановились?

Иван Матвейч приглаживает свои щетинистые, неровно остриженные волосы и берет за перо. Ученый прохаживается из угла в угол, сосредоточивается и начинает диктовать:

— Суть в том... запятая... что некоторые, так сказать, основные формы... написали? — формы единственно обуславливаются самой сущностью тех начал... запятая... которые находят в них свое выражение и могут воплотиться только в них... С новой строки... Там, конечно, точка... Наиболее самостоятельности представляют... представляют... те формы, которые имеют не столько политический... запятая... сколько социальный характер...

— Теперь у гимназистов другая форма... серая... — говорит Иван Матвейч. — Когда я учился, при мне лучше было: мундиры носили...

— Ах, да пишите, пожалуйста! — сердится ученый. — Характер... написали? Говоря же о преобразованиях, относящихся к устройству... государственных функций, а не регулированию народного быта... запятая... нельзя сказать, что они отличаются национальностью своих форм... последние три слова в кавычках... Э-э...то во... Так что вы хотели сказать про гимназию?

— Что при мне другую форму носили.

— Ага... так... А вы давно оставили гимназию?

— Да я же вам говорил вчера! Я уж года три как не учусь... Я из четвертого класса вышел.

— А зачем вы гимназию бросили? — спрашивает ученый, заглядывая в писанье Ивана Матвейча.

— Так, по домашним обстоятельствам.

— Опять вам говорить, Иван Матвейч! Когда наконец вы бросите вашу привычку растягивать строки? В строке не должно быть меньше сорока букв!

— Что ж, вы думаете, я это нарочно? — обижается Иван Матвейч. — Зато в других строках больше сорока букв... Вы сочтите. А ежели вам кажется, что я натягиваю, то вы можете мне плату убавить.

— Ах, да не в том дело! Какой вы неделикатный, право... Чуть что, сейчас вы о деньгах. Главное — аккуратность, Иван Матвейч, аккуратность главное! Вы должны приучать себя к аккуратности.

Горничная вносит в кабинет на подносе два стакана чаю и корзинку с сухарями... Иван Матвейч неловко, обеими руками, берет свой стакан и тотчас же начинает пить. Чай слишком горяч. Чтобы не ожечь губ, Иван Матвейч старается делать маленькие глотки. Он съедает один сухарь, потом другой, третий и, конфузливо покосившись на ученого, робко тянется за четвертым... Его громкие глотки, аппетитное чавканье и выражение голодной жадности в приподнятых бровях раздражают ученого.

— Кончайте скорей... Время дорого.

— Вы диктуйте. Я могу в одно время и пить и писать... Я, признаться, проголодался.

— Еще бы, пешком ходите!

— Да... А какая нехорошая погода! В наших краях в это время уже весной пахнет... Везде лужи, снег тает.

— Вы ведь, кажется, южанин?

— Из Донской области... А в марте у нас совсем уж весна. Тут мороз, все в шубах ходят, а там травка... везде сухо и тарантулов даже ловить можно.

— А зачем ловить тарантулов?

— Так... от нечего делать... — говорит Иван Матвейч и вздыхает. — Их ловить забавно. Нацепишь на нитку кусочек смолы, опустишь смолку в норку и начнешь смолкой бить тарантула по спине, а он, проклятый, рассердится, схватит лапками за смолу и увязнет... А что мы с ними делали! Накидаем их, бывало, полный тазик и пустим к ним бихорку.

— Какого бихорку?

— Это такой паук есть, вроде тоже как бы тарантула. В драке он один может сто тарантулов убить.

— М-да... Однако будем писать... На чем мы остановились?

Ученый диктует еще строк двадцать, потом садится и погружается в размышление.

Иван Матвейч в ожидании, пока тот надумает, сидит и, вытягивая шею, старается привести в порядок воротничок своей сорочки. Галстук сидит не плотно, запонки выскочили, и воротник то и дело расходится.

— М-да... — говорит ученый. — Так-с... Что, не нашли еще себе места, Иван Матвейч?

— Нет. Да где его найдешь? Я, знаете ли, надумал в вольноопределяющиеся идти. А отец советует в аптеку поступить.

— М-да... А лучше, если бы в университет поступили. Экзамен трудный, но при терпении и усидчивом труде можно выдержать. Занимайтесь, читайте побольше... Вы много читаете?

— Признаться, мало... — говорит Иван Матвейч, закуривая.

— Тургенева читали?

— Н-нет...

— А Гоголя?

— Гоголя? Гм!.. Гоголя... Нет, не читал!

— Иван Матвейч! И вам не совестно? Ай-ай! Такой хороший вы малый, так много в вас оригинального, и вдруг... Даже Гоголя не читали! Извольте прочесть! Я вам дам! Обязательно прочтите! Иначе мы рассоримся!

Опять наступает молчание. Ученый полулежит на мягкой кушетке и думает, а Иван Матвейч, оставив в покое воротнички, все свое внимание обращает на сапоги. Он и не заметил, как под ногами от растаявшего снега образовались две большие лужи. Ему совестно.

— Что-то не клеится сегодня... — бормочет ученый. — Иван Матвейч, вы, кажется, и птиц любите ловить?

— Это осенью... Здесь я не ловлю, а там, дома, всегда ловил.

— Так-с... хорошо-с. А писать все-таки нужно. Ученый решительно встает и начинает диктовать, но через десять строк опять садится на кушетку.

— Нет уж, вероятно, отложим до завтрашнего утра, — говорит он. — Приходите завтра утром, только пораньше, часам к девяти. Храни вас Бог опоздать.

Иван Матвейч кладет перо, встает из-за стола и садится на другой стул. Проходит минут пять в молчании, и он начинает чувствовать, что ему пора уходить, что он лишний, но в кабинете ученого так уютно, светло и тепло, и еще настолько свежо впечатление от сдобных сухарей и сладкого чая, что у него сжимается сердце от одной

только мысли о доме. Дома — бедность, голод, холод, ворчун-отец, попреки, а тут так безмятежно, тихо и даже интересуются его тарантулами и птицами.

Ученый смотрит на часы и берется за книгу.

— Так вы дадите мне Гоголя? — спрашивает Иван Матвейч, поднимаясь.

— Дам, дам. Только куда же вы спешите, голубчик? Посидите, расскажите что-нибудь...

Иван Матвейч садится и широко улыбается. Почти каждый вечер сидит он в этом кабинете и всякий раз чувствует в голосе и во взгляде ученого что-то необыкновенно мягкое, притягательное, словно родное. Бывают даже минуты, когда ему кажется, что ученый привязался к нему, привык, и если бранит его за опаздывания, то только потому, что скучает по его болтовне о тарантулах и о том, как на Дону ловят щеглят.

## ВЕДЬМА

Время шло к ночи. Дьячок Савелий Гыкин лежал у себя в церковной сторожке на громадной постели и не спал, хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Из одного края засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла глядели его рыжие жесткие волосы, из-под другого торчали большие, давно не мытые ноги. Он слушал... Его сторожка врезывалась в ограду, и единственное окно ее выходило в поле. А в поле была суцкая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей гибели заварилась в природе каша, но, судя по неумолкаемому, зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто. Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а что-то побежденное выло и плакало... Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке. В нем звучал не призыв на помощь, а тоска, сознание, что уже поздно, нет спасения. Снежные сугробы подернулись тонкой льдяной корой; на них и на деревьях дрожали слезы, по дорогам и тропинкам разливалась темная жижица из грязи и таявшего снега. Одним словом, на земле была оттепель, но небо, сквозь темную ночь, не видело этого и что есть силы сыпало на таяющую землю хлопья нового снега. А ветер гулял, как пьяный... Он не давал этому снегу ложиться на землю и кружил его в потемках, как хотел.

Гыкин прислушивался к этой музыке и хмурился. Дело в том, что он знал, или по крайней мере догадывался, к чему клонилась вся эта возня за окном и чьих рук было это дело.

— Я зна-аю! — бормотал он, грозя кому-то под одеялом пальцем. — Я все знаю!

У окна, на табурете, сидела дьячиха Раиса Ниловна. Жестяная лампочка, стоявшая на другом табурете, словно робея и не веря в свои силы, лила жиденький мелькающий свет на ее широкие плечи, красивые, аппетитные рельефы тела, на толстую косу, которая касалась земли. Дьячиха шила из грубого рядна мешки. Руки ее быстро двигались, все же тело, выражение глаз, брови, жирные губы, белая шея замерли, погруженные в однообразную, механическую работу, и, казалось, спали. Изредка только она поднимала голову, чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шее, взглядывала мельком на окно, за которым бушевала метель, и опять сгибалась над рядном. Ни желаний, ни грусти, ни радости — ничего не выражало ее красивое лицо с вздернутым носом и ямками на щеках. Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьет.

Но вот она кончила один мешок, бросила его в сторону и, сладко потянувшись, остановила свой тусклый, неподвижный взгляд на окне... На стеклах плавали слезы и



белели недолговечные снежинки. Снежинка упадет на стекло, взглянет на дьячиху и растает...

— Поди ложись! — проворчал дьячок.

Дьячиха молчала. Но вдруг ресницы ее шевельнулись и в глазах блеснуло внимание. Савелий, все время наблюдавший из-под одеяла выражение ее лица, высунул голову и спросил:

— Что?

— Ничего... Кажись, кто-то едет... — тихо ответила дьячиха.

Дьячок сбросил с себя руками и ногами одеяло, стал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Робкий свет лампочки осветил его волосатое рябое лицо и скользнул по включенной жесткой голове.

— Слышишь? — спросила жена.

Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом, тонкий, звенящий стон, похожий на зуденье комара, когда он хочет сесть на щеку и сердится, что ему мешают.

Это почта... — проворчал Савелий, садясь на пятки.

В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям сторожки слышались звонки.

— Господи, приходит же охота ездить в такую погоду! — вздохнула дьячиха.

— Дело казенное. Хочешь — не хочешь, поезжай... Стон подержался в воздухе и замер.

— Проехала! — сказал Савелий, ложась.

Но не успел он укрыться одеялом, как до его слуха донесся явственный звук колокольчика. Дьячок тревожно взглянул на жену, спрыгнул с постели и, переваливаясь с боку на бок, заходил вдоль печки. Колокольчик прозвучал немного и опять замер, словно оборвался.

— Не слышать... — пробормотал дьячок, останавливаясь и щуря на жену глаза.

Но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий, звенящий стон... Савелий побледнел, крикнул и опять зашлепал по полу босыми ногами.

— Почту кружит! — прохрипел он, злобно косясь на жену. — Слышишь ты? Почту кружит!.. Я... я знаю! Нешто я не... не понимаю? — забормотал он. — Я все знаю, чтоб ты пропала!

— Что ты знаешь? — тихо спросила дьячиха, не отрывая глаз от окна.

— А то знаю, что все это твои дела, чертиха! Твои дела, чтоб ты пропала! И метель эта, и почту кружит... все это ты наделала! Ты!

— Бесишься, глупый... — покойно заметила дьячиха.

— Я за тобой давно уж это замечаю! Как поженился, в первый же день приметил, что в тебе сучья кровь!

— Тьфу! — удивилась Раиса, пожимая плечами и крестясь. — Да ты перекрестись, дурень!

— Ведьма и есть ведьма, — продолжал Савелий глухим, плачущим голосом, торопливо сморкаясь в подол рубахи. — Хоть ты и жена мне, хоть и духовного звания, но я о тебе и на духу так скажу, какая ты есть... Да как же? Заступи, Господи, и помилуй! В прошлом годе под пророка Даниила и трех отроков была метель, и — что же? мастер греться заехал. Потом на Алексея, Божьего человека, реку взломало, и урядника принесло... Всю ночь тут с тобой, проклятый, калякал, а как наутро вышел, да как взглянул я на него, так у него под глазами круги и все щеки втянуло! А? В Спасовку два раза гроза была, и в оба раза охотник ночевать приходил. Я все видел, чтоб ему пропасть! Все! О, красней рака стала! Ага!

— Ничего ты не видел...

— Ну да! А этой зимой перед рождеством на десять мучеников в Крите, когда метель день и ночь стояла... помнишь? — писарь предводителя сбился с дороги и сюда, собака, попал... И на что польстилась! Тьфу, на писаря! Стоило из-за него Божью погоду мутить! Чертяка, сморкун, из земли не видно, вся морда в угрях и шея кривая... Добро бы, красивый был, а то — тьфу! — сатана.

Дьячок перевел дух, утер губы и прислушался. Колокольчика не было слышно, но рванул над крышей ветер, и в потемках за окном опять зазвякало.

— И теперь тоже! — продолжал Савелий. — Недаром это почту кружит! Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет! О, бес знает свое дело, хороший помощник! Покружит, покружит и сюда доведет. Зна-аю! Ви-ижу! Не скроешь, бесова балаболка, похоть идольская! Как метель началась, я сразу понял твои мысли.

— Вот дурень! — усмехнулась дьячиха. — Что ж, по твоему по дурацкому уму, я ненастье делаю?

— Гм... Усмехайся! Ты или не ты, а только я замечаю: как в тебе кровь начинает играть, так и непогода, а как только непогода, так и несет сюда какого ни на есть безумца. Каждый раз так приходится! Стало быть, ты!

Дьячок для большей убедительности приложил палец ко лбу, закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом:

— О безумие! О Иудино окаянство! Коли ты в самом деле человек есть, а не ведьма, то подумала бы в голове своей: а что, если то были не мастер, не охотник, не писарь, а бес в их образе! А? Ты бы подумала!

— Да и глупый же ты, Савелий! — вздохнула дьячиха, с жалостью глядя на мужа. — Когда папенька живы были и тут жили, то много разного народа ходило к ним от трясушки лечиться: и из деревни, и из выселков, и из армянских хуторов. Почитай каждый день ходили, и никто их бесами не обзывал. А к нам ежели кто раз в год в ненастье заедет погреться, так уж тебе, глупому, и диво, сейчас у тебя и мысли разные.

Логика жены тронула Савелия. Он расставил босые ноги, нагнул голову и задумался. Он не был еще крепко убежден в своих догадках, а искренний, равнодушный тон дьячихи совсем сбил его с толку, но тем не менее, подумав немного, он мотнул головой и сказал:

— Не то чтобы старики или косолапые какие, а все молодые ночевать просят... Почему такое? И пуцай бы только грелась, а то ведь чорта тешат. Нет, баба, хитрей вашего бабьего рода на этом свете и твари нет! Настоящего ума в вас — ни Боже мой, меньше, чем у скворца, зато хитрости бесовской — у-у-у! — спаси, царица небесная! Воц, звонит почта! Метель еще только начиналась, а уж я все твои мысли знал! Наведь-мачила, паучиха!

— Да что ты пристал ко мне, окаянный? — вышла из терпения дьячиха. — Что ты пристал ко мне, смола?

— А то пристал, что ежели нынче ночью, не дай Бог, случится что... ты слушай!.. ежели случится что, то завтра же чуть свет пойду в Дьяково к отцу Никодиму и все объясню. Так и так, скажу, отец Никодим, извините великодушно, но она ведьма. Почему? Гм... желаете знать, почему? Извольте... Так и так. И горе тебе, баба! Не токмо на Страшном судилище, но и в земной жизни наказана будешь! Недаром насчет вашего брата в требнике молитвы написаны!

Вдруг в окне раздался стук, такой громкий и необычайный, что Савелий побледнел и присел от испуга. Дьячиха вскочила и тоже побледнела.

— Ради Бога, пустите погреться! — послышался дрожащий густой бас. — Кто тут есть? Сделайте милость! С дороги сбились!

— А кто вы? — спросила дьячиха, боясь взглянуть на окно.

— Почта! — ответил другой голос.

— Недаром дьяволила! — махнул рукой Савелий. — Так и есть! Моя правда... Ну, гляди же ты мне!

Дьячок подпрыгнул два раза перед постелью, повалился на перину и, сердито сопя, повернулся лицом к стене. Скоро в его спину пахнуло холодом. Дверь скрипнула, и на пороге показалась высокая человеческая фигура, с головы до ног облепленная снегом. За нею мелькнула другая, такая же белая...

— И тюки вносить? — спросила вторая хриплым басом.

— Не там же их оставлять!

Сказавши это, первый начал развязывать себе башлык и, не дожидаясь, когда он развяжется, сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобой швырнул к печке. Затем, стащив с себя пальто, он бросил его туда же и, не здороваясь, зашагал по сторожке.

Это был молодой белокурый почтальон в истасканном форменном сюртучишке и в рыжих грязных сапогах. Согреть себя ходьбой, он сел за стол, протянул грязные ноги к мешкам и подпер кулаком голову. Его бледное с красными пятнами лицо носило еще следы только что пережитых боли и страха. Искривленное злобой, со свежими следами недавних физических и нравственных страданий, с тающим снегом на бровях, усах и круглой бородачке, оно было красиво.

— Собачья жизнь! — проворчал почтальон, водя глазами по стенам и словно не веря, что он в тепле. — Чуть не пропали! Коли б не ваш огонь, так не знаю, что бы и было... И чума его знает, когда все это кончится! Конца-краю нет этой собачьей жизни! Куда мы заехали? — спросил он, понизив голос и вскидывая глазами на дьячиху.

— На Гуляевский бугор, в имение генерала Калиновского, — ответила дьячиха, встрепенувшись и краснея.

— Слышь, Степан? — повернулся почтальон к ямщику, застрявшему в дверях с большим кожаным тюком на спине. — Мы на Гуляевский бугор попали!

— Да... далече!

Произнеся это слово в форме хриплого, прерывистого вздоха, ямщик вышел и немного погодя внес другой тюк поменьше, затем еще раз вышел и на этот раз внес почтальонную саблю на широком ремне, похожую фасоном на тот длинный плоский меч, с каким рисуется на лубочных картинках Юдифь у ложа Олоферна. Сложив тюки вдоль стены, он вышел в сени, сел там и закурил трубку.

— Может, с дороги чаю покушаете? — спросила дьячиха.

— Куда тут чаи распивать! — нахмурился почтальон. — Надо вот скорее греться да ехать, а то к почтовому поезду опоздаем. Минут десять посидим и поедем. Только вы, сделайте милость, дорогу нам покажите...

— Наказал Бог погодой! — вздохнула дьячиха.

— М-да... Вы же сами кто тут будете?

— Мы? Тутошние, при церкви... Мы из духовного звания... Вон мой муж лежит! Савелий, встань же, иди поздоровайся! Тут прежде приход был, а года полтора назад его упразднили. Оно, конечно, когда господа тут жили, то и люди были, стоило приход держать, а теперь без господ, сами судите, чем духовенству жить, ежели самая близкая деревня здесь Марковка, да и та за пять верст! Теперь Савелий заштатный и... заместо сторожа. Ему споручено за церковью глядеть...

И почтальон тут же узнал, что если бы Савелий поехал к генеральше и выпросил у нее записку к преосвященному, то ему дали бы хорошее место; не идет же он к генеральше потому, что ленив и боится людей.

— Все-таки мы духовного звания... — добавила дьячиха.

— Чем же вы живете? — спросил почтальон.

— При церкви есть сенокос и огороды. Только нам от этого мало приходится... — вздохнула дьячиха. — Дядькинский отец Никодим, завидущие глаза, служит тут на Николу летнего, да на Николу зимнего и за это почти все себе берет. Заступиться некому!

— Врешь! — прохрипел Савелий. — Отец Никодим святая душа, светильник церкви, а ежели берет, то по уставу!

— Какой он у тебя сердитый! — усмехнулся почтальон. — А давно ты замужем?

— С прощенного воскресенья четвертый год пошел. Тут прежде в дьячках мой папенька были, а потом, как пришло им время помирать, они, чтоб место за мной осталось, поехали в консисторию и попросили, чтобы мне какого-нибудь неженатого дьячка в женихи прислали. Я и вышла.

— Ага, стало быть, ты одной хлопнушкой двух мух убил! — сказал почтальон, глядя на спину Савелия. — И место получил и жену взял.

Савелий нетерпеливо дрыгнул ногой и ближе придвинулся к стенке. Почтальон вышел из-за стола, потянулся и сел на почтовый тюк. Немного подумав, он помял руками тюки, переложил саблю на другое место и растянулся, свесив на пол одну ногу.

— Собачья жизнь... — пробормотал он, кладя руки под голову и закрывая глаза. — И лихому татарину такой жизни не пожелаю.

Скоро наступила тишина. Слышно было только, как сопел Савелий да как уснувший почтальон, мерно и медленно дыша, при всяком выдыхании выпускал густое, протяжное «к-х-х-х...». Изредка в его горле поскрипывало какое-то колесико да шуршала по тюку вздрагивавшая нога.

Савелий заворочался под одеялом и медленно оглянулся. Дьячиха сидела на табурете и, сдавив щеки ладонями, глядела в лицо почтальона. Взгляд ее был неподвижный, как у удивленного, испуганного человека.

— Ну, чего воззрилась? — сердито прошептал Савелий.

— А тебе что? Лежи! — ответила дьячиха, не отрывая глаз от белокурой головы.

Савелий сердито выдыхнул из груди весь воздух и резко повернулся к стене. Минуты через три он опять беспокойно заворочался, стал в постели на колени и, упершись руками о подушку, покосился на жену. Та все еще не двигалась и глядела на гостя. Щеки ее побледнели, и взгляд загорелся каким-то странным огнем.

Дьячок крикнул, сполз на животе с постели и, подойдя к почтальону, прикрыл его лицо платком.

— Зачем ты это? — спросила дьячиха.

— Чтоб огонь ему в глаза не бил.

— А ты огонь совсем потуши!

Савелий недоверчиво поглядел на жену, потянулся губами к лампочке, но тотчас же спохватился и всплеснул руками.

Ну, не хитрость ли бесовская? — воскликнул он. — А? Ну, есть ли какая тварь хитрее бабьего рода?

— А, сатана длиннополая! — прошипела дьячиха, поморщившись от досады. — Погоди же!

И, поудобнее усевшись, она опять уставилась на почтальона.

Ничего, что лицо было закрыто. Ее не столько занимало лицо, как общий вид, новизна этого человека. Грудь у него была широкая, могучая, руки красивые, тонкие, а мускулистые стройные ноги были гораздо красивее и мужественнее, чем две «кулдышки» Савелия. Даже сравнивать было невозможно.

— Хотя я и длиннополый, нечистый дух, — проговорил, немного постояв, Савелий, — а тут им нечего спать... Да... Дело у них казенное, мы же отвечать будем, зачем их тут держали. Коли везешь почту, так вези, а спать нечего... Эй, ты! — крикнул Савелий в сени. — Ты, ямщик... как тебя? Проводить вас, что ли? Вставай, нечего с почтой спать!

И расходившийся Савелий подскочил к почтальону и дернул его за рукав.

— Эй, ваше благородие! Ехать так ехать, а коли не ехать, так и не тово... Спать не годится.

Почтальон вскочил, сел, обвел мутным взглядом сторожку и опять лег.

— А ехать же когда? — забарабанил языком Савелий, дергая его за рукав. — На то ведь она и почта, чтоб во благовремени поспевать, слышишь? Я провожу.

Почтальон открыл глаза. Согретый и изнеможенный сладким первым сном, еще не совсем проснувшийся, он увидел, как в тумане, белую шею и неподвижный масляный взгляд дьячихи, закрыл глаза и улыбнулся, точно ему все это снилось.

— Ну, куда в такую погоду ехать! — услышал он мягкий женский голос. — Спали бы себе да спали на доброе здоровье!

— А почта? — встревожился Савелий. — Кто же почту-то повезет? Нешто ты повезешь? Ты?

Почтальон снова открыл глаза, взглянул на двигающиеся ямки на лице дьячихи, вспомнил, где он, понял Савелия. Мысль, что ему предстоит ехать в холодных потемках, побежала из головы по всему телу холодными мурашками, и он поежился.

— Пять минуток еще бы можно поспать... — зевнул он. — Все равно опоздали...

— А может, как раз вовремя приедем! — послышался голос из сеней. — Гляди, неровен час и сам поезд на наше счастье опоздает.

Почтальон поднялся и, сладко потягиваясь, стал надевать пальто.

Савелий, видя, что гости собираются уезжать, даже заржал от удовольствия.

— Помоги, что ль! — крикнул ему ямщик, поднимая с пола тюк.

Дьячок подскочил к нему и вместе с ним потащил на двор почтовую клажу. Почтальон стал распутывать узел на башлыке. А дьячиха заглядывала ему в глаза и словно собиралась залезть ему в душу.

— Чаю бы попили... — сказала она.

— Я бы ничего... да вот они собрались! — соглашался он. — Все равно опоздали.

— А вы останьтесь! — шепнула она, опустив глаза и трогая его за рукав.

Почтальон развязал наконец узел и в нерешимости перекинул башлык через локоть. Ему было тепло стоять около дьячихи.

— Какая у тебя... шея...

И он коснулся двумя пальцами ее шеи. Видя, что ему не сопротивляются, он погладил рукой шею, плечо...

— Фу, какая...

— Остались бы... чаю попили бы.

— Куда кладешь? Ты, кутья с патокой! — послышался со двора голос ямщика. —

Поперек клади.

— Остались бы... Ишь как воеет погода!

И не совсем еще проснувшимся, не успевшим стряхнуть с себя обаяние молодого томительного сна, почтальоном вдруг овладело желание, ради которого забываются тюки, почтовые поезда... все на свете. Испуганно, словно желая бежать или спрятаться, он взглянул на дверь, схватил за талию дьячиху и уж нагнулся над лампочкой, чтобы потушить огонь, как в сенях застучали сапоги и на пороге показался ямщик... Из-за его плеча выглядывал Савелий. Почтальон быстро опустил руки и остановился, словно в раздумье.

— Все готово! — сказал ямщик.

Почтальон постоял немного, резко мотнул головой, как окончательно проснувшийся, и пошел за ямщиком. Дьячиха осталась одна.

— Что же, садись, показывай дорогу! — услышала она. Лениво зазвучал один колокольчик, затем другой, и звенящие звуки мелкой длинной цепочкой понеслись от сторожки.

Когда они мало-помалу затихли, дьячиха рванулась с места и нервно заходила из угла в угол. Сначала она была бледна, потом же вся раскраснелась. Лицо ее искажилось ненавистью, дыхание задрожало, глаза заблестели дикой, свирепой злобой, и, шагая как в клетке, она походила на тигрицу, которую пугают раскаленным железом. На минуту остановилась она и взглянула на свое жилье. Чуть ли не полкомнаты занимала постель, тянувшаяся вдоль всей стены и состоявшая из грязной перины, серых жестких подушек, одеяла и разного безыменного тряпья. Эта постель представляла собой бесформенный некрасивый ком, почти такой же, какой торчал на голове Савелия всегда, когда тому приходила охота маслить свои волосы. От постели до двери, выходявшей в холодные сени, тянулась темная печка с горшками и висящими тряпками. Все, не исключая и только что вышедшего Савелия, было донельзя грязно, засалено, закопчено, так что было странно видеть среди такой обстановки белую шею и тонкую, нежную кожу женщины. Дьячиха подбежала к постели, протянула руки, как бы желая раскидать, растоптать и изорвать в пыль все это, но потом, словно испугавшись прикосновения к грязи, она отскочила назад и опять зашагала...

Когда часа через два вернулся облепленный снегом и замученный Савелий, она уже лежала раздетая в постели. Глаза у нее были закрыты, но по мелким судорогам, которые бегали по ее лицу, он догадался, что она не спит. Возвращаясь домой, он дал себе слово до завтра молчать и не трогать ее, но тут не вытерпел, чтобы не уязвить.

— Даром только ворожила: уехал! — сказал он, злорадно ухмыльнувшись.

Дьячиха молчала, только подбородок ее дрогнул. Савелий медленно разделся, перелез через жену и лег к стенке.

— А вот завтра я объясню отцу Никодиму, какая ты жена! — пробормотал он, съезжаясь калачиком.

Дьячиха быстро повернулась к нему лицом и сверкнула на него глазами.

— Будет с тебя и места, — сказала она, — а жену поищи себе в лесу! Какая я тебе жена? Да чтоб ты треснул! Вот еще навязался на мою голову телепень, лежебока, прости Господи!

— Ну, ну... Спи!

— Несчастливая я! — зарыдала дьячиха. — Коли б не ты, я, может, за купца бы вышла или за благородного какого! Коли б не ты, я бы теперь мужа любила! Не замело тебя снегом, не замерз ты там на большой дороге, ирод!

Долго плакала дьячиха. В конце концов она глубоко вздохнула и утихла. За окном все еще злилась вьюга. В печке, в трубе, за всеми стенами что-то плакало, а Савелию казалось, что это у него внутри и в ушах плачет. Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены. Что жена его при помощи нечистой силы распорядилась ветрами и почтовыми тройками, в этом уж он более не сомневался. Но, к сугубому горю его, эта таинственность, эта сверхъестественная, дикая сила придавали лежавшей около него женщине особую непонятную прелесть, какой он и не замечал ранее. Оттого, что он по глупости, сам того не замечая, опоэтизировал ее, она стала как будто белее, глаже, неприступнее...

— Ведьма! — негодовал он. — Тьфу, противная!

А между тем, дождавшись, когда она утихла и стала ровно дышать, он коснулся пальцами ее затылка... подержал в руке ее толстую косу. Она не слышала... Тогда он стал смелее и погладил ее по шее.

— Отстань! — крикнула она и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаз его посыпались искры.

Боль в переносице скоро прошла, но пытка все еще продолжалась.

## ОТРАВА

На земле весь род людской... и т. д.  
*Из арии Мефистофеля*

Петр Петрович Лысов идеалист до конца ногтей, хотя и служит в банкирской конторе Кунст и К<sup>о</sup>. Он поет жиденьким тенором, играет на гитаре, помадится и носит светлые брюки, а все это составляет признаки, по которым идеалиста можно отличить от материалиста за десять верст. На Любочке, дочери отставного капитана Кадыкина, он женился по самой страстной любви... Верите ли, он так любил свою невесту, что если бы ему предложили выбирать между миллионом и Любочкой, то он, не думая, остановился бы на последней... Чорту, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не преминул вмешаться.

Накануне свадьбы (чорт зачертил именно с этого времени) капитан Кадыкин позвал к себе в кабинет Лысова и, взяв его любовно за пуговицу, сказал:

— Надо тебе заметить, любезный друг Петя, что я некоторым образом тово... Уговор лучше денег... Чтобы потом, собственно говоря, не было никаких неудовольствий, надо нам заранее уговориться... Ты знаешь, я ведь за Любочкой не тово... ничего я за Любочкой не даю!

— Ах, не все ли это равно? — вспыхнул идеалист. — И за кого вы меня принимаете? Я женюсь не на деньгах, а на девице!

— То-то... Я ведь это для чего тебе говорю? Для того, чтобы ты все-таки знал... Человек я, конечно, не бедный, имею состояние, но ведь, сам видишь, у меня, кроме Любочки, еще пятеро... Так-то, друг милый Петя... Охохохх... (капитан вздохнул). Оно, конечно, и тебе трудно будет, ну, да что делать! Крепись как-нибудь... В случае, ежели что-нибудь этакое... детородность там или другое какое событие, то могу помочь... Понемножку могу... Даже сейчас могу...

— Выдумали, ей Богу! — махнул рукой Лысов.

— Сейчас я могу тебе четыреста рублей одолжить... Больше, извини, хотел бы дать, но хоть режь!

Кадыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумагу и подал ее Лысову.

— На, бери! — сказал он. — Ровно четыреста! Я бы и сам получил по этому исполнительному листу, да, знаешь, возиться некогда, а ты когда захочешь, тогда и получишь... Прямо без всякого стеснения ступай к доктору Клябову и получай... А ежели он зафордыбачится, то к судебному приставу...

Как ни отнекивался Лысов и как ни доказывал, что женится не на деньгах, а на девице, но кончил тем, что сложил вчетверо исполнительный лист и спрятал его в карман. На другой день, возвращаясь в карете с венчанья, Лысов держал Любочку за талию и говорил ей:

— Третьего дня ты плакала, что у нас в семейном очаге фортепиано не будет... Радуйся, Любубунчик! Я тебе за четыреста рублей пианино куплю...

После свадебного ужина, когда молодые остались одни, Лысов долго ходил из угла в угол, потом вдохновенно мотнул головой и сказал жене:

— Знаешь что, Люба? Не лучше ли нам подождать покупать пианино? А, как ты думаешь? Давай-ка мы сначала мебели купим! За четыреста рублей отличную меблировку можно завести! Так разукрасим комнаты, что чертям тошно будет! В ту комнату мы поставим диван и кресла с шелковой, знаешь, обивкой... Перед диваном, конечно, круглый стол с какой-нибудь этакой, чорт ее побери, заковыристой лампой... Здесь

вот мы поставим мраморный рукомойник. Ву компрене?\* Ха-ха... В этот промежуток мы втиснем гардероб или комод с туалетом... То есть чорт знает, как хорошо все это выйдет!

— Нужно будет и занавески к окнам.

— Да, и занавески! Завтра же пойду к этому доктору! Только бы мне застать его, чорта... Эти доктора народ жадный, имеют привычку чуть свет на практику выезжать... Уж ты извини, Люба, я завтра пораньше встану...

В восемь часов утра Лысов тихонько встал, оделся и отправился пешком к доктору Клябову. Без четверти в девять он уже стоял в докторской передней.

— Доктор дома? — спросил он горничную.

— Дома-с, но они спят и не скоро встанут-с.

От такого ответа лицо Лысова поморщилось и стало таким кислым, что горничная испугалась и сказала:

— Если он вам так нужен, то я могу его разбудить! Пожалуйста в кабинет!

Лысов снял шубу и вошел в кабинет...

«А хорошо живет каналья! — подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку. — Одна софа небось рублей четыреста стоит...»

Минут через десять послышался отдаленный кашель, потом шаги, и в кабинет вошел доктор Клябов, неумытый, заспанный.

— Что у вас? — спросил он, садясь против Лысова.

— Я, господин доктор, собственно говоря, не болен, — начал идеалист, мило улыбаясь, — а пришел к вам по делу... Видите ли, я вчера женился, и... мне очень нужны деньги... Вы меня премного обяжете, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу...

— По какому исполнительному листу? — вытаращил глаза доктор.

— А вот по этому... Я Лысов и женился на дочери Кадыкина. Я ему зять, и он, то есть тесть, передал мне этот лист. То есть Кадыкин!

— Бог знает что! — махнул рукой Клябов, поднимаясь и делая плачущее лицо. — Я думал, что вы больны, а вы с ерундой какой-то... Это даже бессовестно с вашей стороны! Я сегодня в седьмом часу лег, а вы чорт знает из-за чего будите! Порядочные люди уважают чужой покой... Мне даже совестно за вас!

— Виноват, я думал-с... — сконфузился Лысов, — я не знал-с...

И, видя, что доктор уходит, он поднялся и пробормотал:

— А когда же прикажете за получением приходиться?

— Никогда... Я этому Кадыкину уж тысячу раз говорил, чтобы он оставил меня в покое! Надоели!

Тон и обращение доктора сконфузили Лысова, но и озлили.

— В таком случае, — сказал он, — извините, я должен буду обратиться к судебному приставу и... наложить запрещение на ваше имущество!..

— Сколько угодно! Этот ваш Затыкин или — как его? — Кадыкин знает, что имущество не мое, а женино.

Выйдя от доктора, Лысов был красен и дрожал от злости.

«Невежа! — думал он. — Скотина! Живет так богато, имеет практику и долгов не платит! Ну, постой же...»

Вечером, вместо того чтобы ложиться спать, Лысов сел писать к доктору письмо... В этом письме он категорически, и угрожая судебным приставом, просил уведомить его, в какой день и час доктора можно застать дома. Не получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо... Наконец, истратив попусту шесть городских марок, он возмутился и пошел к судебному приставу...

---

\* Вы понимаете? (от франц. comprenez vous?)



Пока он таким образом писал письма и делал визиты судебному приставу, время шло, и натура человеческая работала... Лысову скоро стало казаться, что четыреста рублей ему необходимы крайне, позарез, что удивительно, как это он мог ранее без них обходиться. Не говоря уж о мебелировке, которую можно отложить на будущее, этими деньгами нужно уплатить прежние долги, портному, в лавочку... Когда дней через десять после свадьбы Любочка попросила у Лысова пять рублей для кухарки, но тот сказал:

— Это уж я из докторских ей дам, а сейчас у меня нет... Знаешь что? Схожу-ка я сегодня к доктору! Попрошу его, чтоб он хоть по частям выплачивал. На это он, наверное, согласится!..

Придя к доктору, он застал у него в приемной много больных. Пришлось ожидать очереди. Прочитав все газеты, лежавшие на столе, и истомившись до сухоты в горле и нытья под ложечкой, он наконец вошел в кабинет доктора.

— Вы опять! — поморщился Клябов.

Лысов сел и чистосердечно объяснил доктору, как Кадыкин подарил ему исполнительный лист и как нужны ему деньги.

— Вы можете мне по десяти рублей выплачивать... — кончил он. — Я и на это согласен!

— Вы, извините, просто психопат... — ухмыльнулся Клябов. — Кто же, скажите, пожалуйста, принимает в подарок исполнительные листы?

— Я принял, потому что думал, что вы будете тово... добросовестны!

— Вот как! Не вам-с говорить о добросовестности! Вы знаете, откуда взялся этот долг? Когда я был студентом, то взял у вашего тестя только пятьдесят рублей, остальные же все проценты! И я не заплачу... По принципу не заплачу! Ни копейки!

Возвратился Лысов домой от доктора утомленный, злой.

— Не понимаю я твоего отца! — сказал он Любочке. — Ведь это низко, подло! Точно у него не нашлось для меня четырехсот рублей! Мне приданого не нужно, но я из принципа! Я теперь с твоим отцом и говорить не хочу... Скряга, грошовник! Назло вот поди и скажи ему, чтобы он взял свой глупый исполнительный лист и вместо него прислал мне четыреста рублей... Слышишь? Поди, так и скажи...

— Как же я ему скажу? Мне неловко, Петя.

— Аа... для тебя он, значит, дороже мужа! По-твоему, он прав? Я не взял с него ничего приданого, и он же еще прав!

Любочка заморгала глазами и заплакала.

— Начинается... — пробормотал Лысов. — Этого еще не доставало! Ну, пожалуйста, матушка, без этих штук! У меня чтоб этого не было! Меня, брат, этим не убедишь... не проймешь! Я этого не люблю! Можешь у папеньки реветь, а здесь тебе не место! Слышишь?

И Лысов постучал по столу корешком книги... Этим стуком и завершился медовый месяц...

## РАССКАЗ БЕЗ КОНЦА

### *Сценка*

В начале третьего часа одной из давно уже пережитых ночей ко мне в кабинет вдруг неожиданно вбежала бледная, взволнованная кухарка и объявила, что у нее в кухне сидит владелица соседнего домишки, старуха Милютиха.

— Просит, барин, чтоб вы к ней сходили... — сказала кухарка, тяжело переводя дух. — С ее жильцом нехорошо случилось... Застрелился или завесился...

— Что же я могу сделать? — сказал я. — Пусть идет к доктору или в полицию!

— Куда ей искать доктора! Она еле дышит и от страха под печку забилась... Сходили бы, барин!

Я оделся и пошел в дом Милютихи. Калитка, к которой я направился, была открыта. Постояв около нее в нерешимости и не нащупав дворницкого звонка, я вошел во двор. Крыльцо, темное и похилившееся, было тоже не заперто. Я открыл его и вошел в сени. Тут ни зги света, сплошной мрак и вдобавок еще чувствительный запах ладана. Нащупывая выход из сеней, я ударился локтем о что-то железное и наткнулся в потемках на какую-то доску, которую чуть было не свалил на землю. Наконец дверь, обитая порванным войлоком, была найдена, и я вошел в маленькую переднюю.

Сейчас я пишу не святочный рассказ и далек от намерения пугать читателя, но картина, которую я увидел из сеней, была фантастична и могла быть нарисована одною только смертью. Прямо передо мной была дверь, ведущая в маленький залик. Полинялые, аспидного цвета обои скупо освещались тремя рядом стоявшими, восковыми пятикопеечными свечками. Посреди зала на двух столах стоял гроб. Восковые свечи горели для того, чтобы освещать маленькое, смугло-желтое лицо с полуоткрытым ртом и острым носом. От лица до кончиков двух башмаков мешались в беспорядке волны марли и кисеи, а из волн глядели две бледные, неподвижные руки с восковым крестиком. Темные, мрачные углы зала, образа за гробом, гроб — все, кроме тихо мерцавших огней, было неподвижно мертвенно, как сама могила...

«Что за чудеса? — подумал я, ошеломленный неожиданной панорамой смерти. — Откуда такая скоропостижность? Не успел жилец повеситься или застрелиться, как уже и гроб!»

Я огляделся. Налево была дверь со стеклянным верхом, направо хромая вешалка с поношенной шубенкой...

— Воды дайте... — услышал я стон.

Стон шел слева, из-за двери со стеклянным верхом. Я открыл эту дверь и вошел в маленькую комнату, темную, с единственным окном, по которому робко скользил слабый свет от уличного фонаря.

— Здесь есть кто-нибудь? — спросил я.

И, не дождавшись ответа, я зажег спичку. Пока она горела, я увидел следующее. У самых ног моих на окрашенном кровью полу сидел человек. Сделай я шаг подлиннее, я наступил бы на него. Протянув вперед ноги и упираясь руками о пол, он силился поднять кверху свое красивое, смертельно бледное лицо с черной, как тушь, окладистой бородой. В больших глазах, которые он поднял на меня, я прочел невыразимый ужас, боль, мольбу. По лицу его большими каплями тек холодный пот. Этот пот, выражение лица, дрожание подпиравшихся рук, тяжелое дыхание и стиснутые зубы говорили, что он страдал невыносимо. Около правой руки его в луже крови валялся револьвер.

— Не уходите... — услышал я слабый голос, когда потухла спичка. — Свеча на столе.

Я зажег свечку и, не зная, с чего начать, остановился посреди комнаты. Я стоял и глядел на человека, сидевшего на полу, и мне казалось, что я ранее уже где-то видел его.

— Боль нестерпимая, — прошептал он, — а нет сил выстрелить в себя еще раз. Непонятная нерешимость!

Я сбросил с себя пальто и занялся больным. Подняв с пола, как ребенка, я положил его на клеенчатый диван и осторожно раздел. Он дрожал и был холоден, когда я снимал с него одежду; рана же, которую я увидел, не соответствовала ни этой дрожи, ни выражению лица больного. Она была ничтожна. Пуля прошла между пятым и шес-

тым ребром левой стороны, разорвав кожу и клетчатку — только. Самую пулю нашел я в складках сюртучной подкладки около заднего кармана. Остановив, как умел, кровь и сделав временную повязку из наволочки, полотенца и двух платков, я дал больному выпить и укрыл его висевшей в передней шубенкой. Во все время перевязки мы оба не сказали ни слова. Я работал, а он лежал неподвижно и глядел на меня сквозь сильно прищуренные глаза, как бы стыдясь своего неудачного выстрела и тех хлопот, которые он мне причинил.

— Теперь вы потрудитесь лежать покойно, — сказал я, покончив с повязкой, — а я сбегаю в аптеку и возьму там что-нибудь.

— Не нужно! — пробормотал он, хватая меня за рукав и открывая глаза во всю их ширь.

В глазах его я прочел испуг. Он боялся, чтобы я не ушел.

— Не нужно! Посидите еще минут пять... десять... Если вам не противно, то сядьте, прошу вас.

Он просил и дрожал, стуча зубами. Я послушался и сел на край дивана. Десять минут прошло в молчании. Я молчал и обозревал комнату, в которую так неожиданно занесла меня судьба. Какая бедность! У человека, обладавшего красивым, изнеженным лицом и выхоленной окладистой бородой, была обстановка, которой не позавидовал бы простой мастеровой. Диван с облезлой, дырявой клеенкой, простой засаленный стул, стол, заваленный бумажным хламом, да прескверная олеография на стене — вот и все, что я увидел. Сыро, мрачно и серо.

— Какой ветер! — проговорил больной, не открывая глаз — Как он ноет!

— Да, — сказал я. — Послушайте, мне кажется, что я вас знаю. Вы не участвовали в прошлом году в любительском спектакле у генерала Лухачева на даче?

— А что? — спросил он, быстро открыв глаза. По лицу его пробежала тучка.

— Точно я видел вас там. Вы не Васильев?

— Хоть бы и так, ну так что же? От этого не легче, что вы меня знаете.

— Не легче, но я спросил вас так... между прочим.

Васильев закрыл глаза и, словно обиженный, повернул свое лицо к спинке дивана.

— Не понимаю я этого любопытства! — проворчал он. Недостает еще, чтобы вы стали допрашивать, какие причины побудили меня к самоубийству!

Не прошло и минуты, как он опять повернулся ко мне, открыл глаза и заговорил плачущим голосом:

— Вы извините меня за этот тон, но, согласитесь, я прав! Спрашивать у арестанта, за что он сидит в тюрьме, а у самоубийцы, зачем он стрелялся, невеликодушно и... неделикатно. Удовлетворять праздное любопытство на чужих нервах!

— Напрасно вы волнуетесь... Я и не думал спрашивать вас о причинах.

— Так спросили бы... Это в привычке людей. А к чему спрашивать? Скажу я вам, а вы или не поймете, или не поверите... Я и сам, признаться, не понимаю... Есть протоколно-газетные термины вроде «безнадежная любовь» и «безвыходная бедность», но причины неизвестны... Их не знаю ни я, ни вы, ни ваши редакции, в которых дерзают писать «из дневника самоубийцы». Один только Бог понимает состояние души человека, отнимающего у себя жизнь, люди же не знают.

— Все это очень мило, — сказал я, — но вам не следует много говорить...

Но мой самоубийца разошелся. Он подпер голову кулаком и продолжал тоном больного профессора:

— Никогда не понять человеку психологических тонкостей самоубийства! Где причины? Сегодня причина заставляет хвататься за револьвер, а завтра эта же самая причина кажется не стоящей яйца выеденного... Все зависит, вероятно, от индивидуализации субъекта в данное время... Взять, например, меня. Полчаса тому назад

я страстно желал смерти, теперь же, когда горит свеча и возле меня сидите вы, я и не думаю о смертном часе. Объясните-ка вы эту перемену! Стал ли я богаче, или воскресла моя жена? Повлиял ли на меня этот свет, или присутствие постороннего человека?

— Свет действительно влияет... — пробормотал я, чтобы сказать что-нибудь. — Влияние света на организм...

— Влияние света... Допустим! Но ведь стреляются и при свечах! И мало чести героям ваших романов, если такой пустяк, как свечка, так резко изменяет ход драмы! Вся эта галиматья, может быть, и объяснима, но не нами. Чего не понимаешь, того и спрашивать и объяснять нечего...

— Простите, — сказал я, — но... судя по выражению вашего лица, мне кажется, что в данную минуту вы... рисуетесь.

— Да? — спохватился Васильев. — Очень может быть! Я по природе ужасно суетен и фатоват. Ну, вот объясните, если вы верите своей физиономике! Полчаса тому назад стрелялся, а сейчас рисуюсь... Объясните-ка!

Последние слова Васильев проговорил слабым, потухающим голосом. Он утомился и умолк. Наступило молчание. Я стал рассматривать его лицо. Оно было бледно, как у мертвеца. Жизнь в нем, казалось, погасла, и только следы страданий, которые пережил «суетный и фатоватый» человек, говорили, что оно еще живо. Жутко было глядеть на это лицо, но каково же было самому Васильеву, у которого хватало еще сил философствовать и, если я не ошибался, рисоваться!

— Вы здесь? — спросил он, вдруг приподнимаясь на локте. — Боже мой! Нужно только прислушаться!

Я стал слушать. За темным окном, ни на минуту не умолкая, сердито стучал дождь. Жалобно и тоскливо гудел ветер.

— «И паче снега убелюся, и слуху моему даси радость и веселие», — читала в зале возвратившаяся Милютиха ленивым, утомленным голосом, не повышая и не понижая однообразной, скучной ноты.

— Не правда ли, это весело? — прошептал Васильев, повернув ко мне свое испуганное лицо. — Боже мой, чего только не приходится видеть и слышать человеку! Переложить бы этот хаос на музыку! «Незнающих привел бы он в смятение, — как говорит Гамлет, — исторг бы силу из очей и слуха». Как бы я понял тогда эту музыку! Как бы прочувствовал! Который час?

— Без пяти три.

— Далеко еще до утра. А утром похороны. Красивая перспектива! Идешь за гробом по грязи, под дождем. Идешь и не видишь ничего, кроме облачного неба да дрянных пейзажей. Грязные факельщики, кабаки, дровяные склады... брюки мокры до колен. Улицы бесконечно длинны, время тянется, как вечность, народ груб. А на душе камень, камень!

Помолчав немного, он вдруг спросил:

— Давно видали генерала Лухачева?

— С самого лета не видел.

— Любит петушиться, но милый старикашка. А вы все пописываете?

— Да, немножко.

— Так... А помните, каким фырсином, восторженным теленком прыгал я на этих любительских спектаклях, когда ухаживал за Зиной? Глупо было, но хорошо, весело... Даже при воспоминании весной пахнет... А теперь! Какая резкая перемена декораций! Вот вам тема! Только вы не вздумайте писать «дневника самоубийцы». Это пошло и шаблонно. Вы хватите что-нибудь юмористическое.

— Вы опять... рисуетесь, — сказал я. — В вашем положении ничего нет юмористического.

— Ничего нет смешного? Вы говорите, ничего нет смешного?

Васильев приподнялся, и на глазах его заблестели слезы. Выражение горькой обиды разлилось по его бледному лицу, задрожал подбородок.

— Вы смеетесь над кассирами и неверными женами, которые надувают, — сказал он, — но ведь ни один кассир, ни одна неверная жена не надували так, как надула меня моя судьба! Я так обманут, как не обманывался еще ни один банковый вкладчик, ни один рогатый муж! Прочувствуйте только, в каких смешных дураках я остался! В прошлом году на ваших глазах не знал, куда деваться от счастья, а теперь на ваших же глазах...

Васильев упал головой на подушку и засмеялся.

— Смешнее и глупее такого перехода и выдумать нельзя. Первая глава: весна, любовь, медовый месяц... мед, одним словом; вторая глава: искание должности, ссуда денег под залог, бедность, аптека и... завтрашнее шлепанье по грязи на кладбище.

Он опять засмеялся. Мне стало жутко, и я порешил уйти.

— Послушайте, — сказал я, — вы лежите, а я схожу в аптеку.

Он не отвечал. Я надел пальто и вышел из его комнаты. Проходя через сени, я взглянул на гроб и читающую Милютиху. Как я ни напрягал зрения, но не сумел в желто-смуглом лице узнать Зину, бойкую, хорошенькую *ingenu\** лухачевской труппы.

«*Sic transit*»\*\*, — подумал я.

Затем я вышел, не забыв прихватить с собою револьвер, и отправился в аптеку. Но не следовало мне уходить. Когда я вернулся из аптеки, Васильев лежал у себя на диване в обмороке. Повязка была грубо сорвана, а из растревоженной раны текла кровь. Привести его в чувство мне не удалось до самого утра. Он лихорадочно бредил, дрожал и водил безумными глазами по комнате все время, пока не наступило утро и не послышался возглас священника, начавшего служить панихиду.

Когда квартира Васильева наполнилась старухами и факельщиками, когда гроб тронули с места и понесли со двора, я посоветовал Васильеву оставаться дома. Но он не послушался, несмотря ни на боль, ни на серое, дождливое утро. До самого кладбища шел он за гробом без шапки, молча, еле волоча ноги и изредка конвульсивно хватаясь за раненый бок. Лицо выражало полнейшую апатию. Раз только, когда я каким-то ничтожным вопросом вывел его из забытья, он обвел глазами мостовую, серый забор, и в глазах его на мгновение сверкнула мрачная злоба.

— «Колесное заведение», — прочел он вывеску. — Безграмотные невежи, чорт бы их взял совсем!

С кладбища я повез его к себе.

---

Прошел еще только год с той ночи, и Васильев еще не успел как следует сносить сапогов, в которых шлепал по грязи за гробом жены.

В настоящее время, когда я оканчиваю этот рассказ, он сидит у меня в гостиной и, играя на пианино, показывает дамам, как провинциальные барышни поют чувствительные романсы. Дамы хохочут, и он сам хохочет. Ему весело.

Я зову его к себе в кабинет. Видимо, недовольный тем, что я лишил его приятного общества, он входит ко мне и останавливается передо мной в позе человека, которому некогда. Я подаю ему этот рассказ и прошу прочесть. Он, всегда снисходительный к моему авторству, заглушает свой вздох, вздох читательской лени, садится в кресло и принимается за чтение.

— Чорт возьми, какие ужасы, — бормочет он улыбаясь.

---

\* Актриса, играющая роль наивных девушек (*франц.*).

\*\* «Так проходит» (*лат.*) (Начало поговорки: так проходит слава земная.)

Но чем более он углубляется в чтение, тем серьезнее становится его лицо. Наконец, под напором тяжелых воспоминаний, он страшно бледнеет, поднимается и продолжает чтение стоя. Окончив, он начинает шагать из угла в угол.

— Чем же кончить? — спрашиваю я его.

— Чем кончить? Гм...

Он окидывает взглядом комнату, меня, себя... Он видит свой новый модный костюм, слышит смех дам и... упав на кресло, начинает смеяться, как смеялся он в ту ночь.

— Ну, не прав ли я был, когда говорил тебе, что все это смешно? Боже мой! Вынес я на своих плечах столько, сколько слону на спине не выдержать, выстрадал чорт знает сколько, больше уж, кажется, и выстрадать нельзя, а где следы? Удивительное дело! Казалось бы, вечна, неизгладима и неприкосновенна должна быть печать, налагаемая на человека его муками. И что же? Эта печать изнашивается так же легко, как и дешевые подметки. Ничего не осталось, хоть бы тебе что! Словно я тогда не страдал, а мазурку плясал. Превратно все на свете, и смешна эта превратность! Широкое поле для юмористики!.. Загни-ка, брат, юмористический конец!

— Петр Николаевич, скоро же вы? — зовут моего героя нетерпеливые дамы.

— Сию минуту-с! — говорит «суетный и фатоватый» человек, поправляя галстук. — Смешно, брат, и жаль, жаль и смешно, но что поделаешь? Номо сум...\* А все-таки хвалю природу-матушку за ее обмен веществ. Если бы у нас оставалось мучительное воспоминание о зубной боли да о тех страхах, которые приходится каждому из нас переживать, будь все это вечно, — скверно жилось бы тогда на свете нашему брату человеку!

Я смотрю на его улыбающееся лицо, и мне припоминается то отчаяние и тот ужас, которыми полны были его глаза, когда он год тому назад глядел на темное окно. Я вижу, как он, входя в свою обычную роль ученого пустослова, собирается пококетничать передо мною своими праздными теориями вроде обмена веществ, и в это время мне припоминается он, сидящий на полу в луже крови, с больными, умоляющими глазами.

— Чем же кончить? — спрашиваю я себя вслух. Васильев, посвистывая и поправляя галстук, уходит в гостиную, а я гляжу ему вслед, и досадно мне. Жаль мне почему-то его прошлых страданий, — жаль всего того, что я и сам почувствовал ради этого человека в ту нехорошую ночь. Точно я потерял что-то...

## ШУТОЧКА

Ясный зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

— Съедемте вниз, Надежда Петровна! — умоляю я. — Один только раз! Уверю вас, мы останемся целы и невредимы.

Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума.

\* Я человек... (лат.) (Начало поговорки: я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.)

— Умоляю вас! — говорю я. — Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!

Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну.

Санки летят, как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу... Вот-вот еще мгновение, и кажется — мы погибнем!

— Я люблю вас, Надя! — говорю я вполголоса. Санки начинают бежать все тише и тише, рев ветра и жужжанье полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва дышит... Я помогаю ей подняться.

— Ни за что в другой раз не поеду, — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. — Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они только слышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.

Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость...

— Знаете что? — говорит она, не глядя на меня.

— Что? — спрашиваю я.

— Давайте еще раз... прокатим.

Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Наденька!

Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано:

«В чем же дело? Кто произнес те слова? Он, или мне только слышалось?»

Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.

— Не пойти ли нам домой? — спрашиваю я.

А мне... мне нравится это катанье, — говорит она краснея. — Не проехаться ли нам еще раз?

Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.

Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить:

— Я люблю вас, Надя!

И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает... Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей

тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:

«Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!»

На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. Н.». И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток, и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:

— Я люблю вас, Надя!

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое: я и ветер. Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей, по-видимому, уже все равно; из какого сосуда ни пить — все равно, лишь бы быть пьяным.

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня... Затем она робко идет вверх по лесенке... Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идет, точно на казнь, но идет, идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила наконец попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места... «Жжжж»... жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю... Я вижу только, как она поднимается из саней изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать...

Но вот наступает весенний месяц март... Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает, наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург — надолго, должно быть, навсегда.

Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями... Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной, и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо... Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо... Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным, грустным, по щеке ползет слеза... И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Надя!

Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.

А я иду укладываться...

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали или она сама вышла — это все равно, за секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до нее слова «я вас люблю, Наденька», не забыто; для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни...

А мне теперь, когда я стал старше, уже не понятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил...



## АГАФЬЯ

В бытность мою в С—м уезде мне часто приходилось бывать на Дубовских огородах у огородника Саввы Стукача, или попросту Савки. Эти огороды были моим излюбленным местом для так называемой «генеральной» рыбной ловли, когда, уходя из дому, не знаешь дня и часа, в которые вернешься, забираешь с собой все до одной рыболовные снасти и запасаясь провизией. Собственно говоря, меня не так занимала рыбная ловля, как безмятежное шатанье, еда не вовремя, беседа с Савкой и продолжительные очные ставки с тихими летними ночами. Савка был парень лет двадцати пяти, рослый, красивый, здоровый, как кремень. Слыл он за человека рассудительного и толкового, был грамотен, водку пил редко, но как работник этот молодой и сильный человек не стоил и гроша медного. Рядом с силой в его крепких, как веревка, мышцах разливалась тяжелая, непобедимая лень. Жил он, как и все, на деревне, в собственной избе, пользовался наделом, но не пахал, не сеял и никаким ремеслом не занимался. Старуха мать его побиралась под окнами, и сам он жил, как птица небесная: утром не знал, что будет есть в полдень. Не то чтобы у него не хватало воли, энергии или жалости к матери, а просто так, не чувствовалось охоты к труду и не сознавалась польза его... От всей фигуры так и веяло безмятежностью, врожденной, почти артистической страстью к житию зря, спустя рукава. Когда же молодое здоровое тело Савки физиологически потягивало к мышечной работе, то парень ненадолго весь отдавался какой-нибудь свободной, но вздорной профессии вроде точения ни к чему не нужных колышков или беганья с бабами наперегонку. Самым любимым его положением была сосредоточенная неподвижность. Он был в состоянии простаивать целые часы на одном месте, не шевелясь и глядя в одну точку. Двигался же по вдохновению, и то только когда представлялся случай сделать какое-нибудь быстрое, порывистое движение: ухватить бегущую собаку за хвост, сорвать с бабы платок, перескочить широкую яму. Само собою разумеется, что при такой скупости на движения Савка был гол как сокол и жил хуже всякого бобыля. С течением времени должна была накопиться недомимка, и он, здоровый и молодой, был послан миром на стариковское место в сторожа и пугало общественных огородов. Как ни смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и в ус не дул. Это место, тихое, удобное для неподвижного созерцания, было как раз по его натуре.

Случилось мне быть у этого самого Савки в один из хороших майских вечеров. Помню, я лежал на рваной, затасканной полости почти у самого шалаша, от которого шел густой и душный запах сухих трав. Подложив руки под голову, я глядел вперед себя. У ног моих лежали деревянные вилы. За ними черным пятном резалась в глаза собачонка Савки — Кутька, а не дальше, как сажени на две от Кутьки, земля обрывалась в крутой берег речки. Лежа, я не мог видеть реки. Я видел только верхушки лозняка, теснившегося на этом берегу, да извилистый, словно обгрызенный край противоположного берега. Далеко за берегом, на темном бугре, как испуганные молодые куропатки, жались друг к другу избы деревни, в которой жил мой Савка. За бугром догорала вечерняя заря. Осталась одна только бледно-багровая полоска, да и та стала подергиваться мелкими облачками, как уголья пеплом.

Направо от огорода, тихо пошептывая и изредка вздрагивая от невзначай налетавшего ветра, темнела ольховая роща, налево тянулось необозримое поле. Там, где глаз не мог уж отличить в потемках поле от неба, ярко мерцал огонек. Поодаль от меня сидел Савка. Поджав под себя по-турецки ноги и свесив голову, он задумчиво глядел на Кутьку. Наши крючки с живцами давно уже стояли в реке, и нам ничего не оставалось делать, как только предаваться отдыху, который так любил никогда не

утомлявшийся и вечно отдохавший Савка. Заря еще не совсем погасла, а летняя ночь уж охватывала своей нежащей, усыпляющей лаской природу.

Все замирало в первом, глубоком сне, лишь какая-то неизвестная мне ночная птица протяжно и лениво произносила в роще длинный членораздельный звук, похожий на фразу: «Ты Ни-ки-ту видел?» — и тотчас же отвечала сама себе: «Видел! видел! видел!»

— Отчего это нынче соловьи не поют? — спросил я Савку.

Тот медленно повернулся ко мне. Черты лица его были крупны, но ясны, выразительны и мягки, как у женщины. Затем он взглянул своими кроткими, задумчивыми глазами на рощу, на лозняк, медленно вытащил из кармана дудочку, вложил ее в рот и запискал соловьиной. И тотчас же, точно в ответ на его писканье, на противоположном берегу задержал коростель.

— Вот вам и соловей... — усмехнулся Савка. — Дерг-дерг! Дерг-дерг! Слово за крючок дергает, а ведь небось тоже думает, что поет.

— Мне нравится эта птица... — сказал я. — Ты знаешь? Во время перелета коростель не летит, а по земле бежит. Перелетает только через реки и моря, а то все пешком.

— Ишь ты, собака... — пробормотал Савка, поглядев с уважением в сторону кричавшего коростеля.

Зная, каким любителем был Савка послушать, я рассказал ему все, что знал о коростеле из охотничьих книг. С коростеля я незаметно перешел на перелет. Савка слушал меня внимательно, не мигая глазами, и все время улыбался от удовольствия.

— А какой край для птиц роднее? — спросил он. — Наш или тамошний?

— Конечно, наш. Тут птица и сама родится и детей выводит, здесь у нее родина, а туда она летит только затем, чтобы не замерзнуть.

— Любопытно! — потянулся Савка. — Про что ни говори, все любопытно. Птица таперя, человек ли, камешек ли этот взять — во всем своя умственность!.. Эх кабы знать, барин, что вы придете, не велел бы я нынче бабе сюда приходиться... Просилась одна нынче придти...

— Ах сделай милость, я мешать не стану! — сказал я. — Я могу и в роще лечь...

— Ну вот еще! Не умерла б, коли завтра пришла... Ежели б она села тут да разговоры слушала, а то ведь только слюни распустил. При ней не поговоришь толком.

— Ты Дарью ждешь? — спросил я, помолчав.

— Нет... Нынче новая просилась... Агафья Стрельчиха...

Савка произнес это своим обычным, бесстрастным, несколько глухим голосом, точно говорил о табаке или каше, я же привскочил от удивления. Стрельчиху Агафью я знал... Это была совсем еще молодая бабенка, лет девятнадцати — двадцати, не далее как год тому назад вышедшая замуж за железнодорожного стрелочника, молодого и бравого парня. Жила она на деревне, а муж ходил ночевать к ней с линии каждую ночь.

— Плохим, брат, кончатся все эти твои бабы истории! — вздохнул я.

— А пусть...

И, немного подумав, Савка прибавил:

— Я говорил бабам, не слушаются... Им, дурам, и горя мало!

Наступило молчание... Потемки между тем все более сгущались, и предметы теряли свои контуры. Полоска за бугром совсем уже потухла, а звезды становились все ярче, лучистее... Меланхолически-однообразная трескотня кузнечиков, дерганье коростеля и крик перепела не нарушали ночной тишины, а, напротив, придавали ей еще большую монотонность. Казалось, тихо звучали и чаровали слух не птицы, не насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба...

Первый нарушил молчание Савка. Он медленно перевел глаза с черной Кутьки на меня и сказал:

— Вам, барин, я вижу, скучно. Давайте ужинать. И, не дожидаясь моего согласия, он пополз на животе в шалаш, пошарил там, причем весь шалаш затрепетал, как один лист; потом он пополз назад и поставил передо мною мою водку и черепную чашку. В чашке были печеные яйца, ржаные лепешки на сале, куски черного хлеба и еще что-то... Мы выпили из кривого, не умевшего стоять стаканчика, и принялись за еду... Серая крупная соль, грязные сальные лепешки, упругие, как резина, яйца, но зато как все это вкусно!

— Живешь бобылем, а сколько у тебя добра всякого, — сказал я, указывая на чашку. — Где ты его берешь?

— Бабы носят... — промычал Савка.

— За что же это они тебе носят?

— Так... из жалости...

Не одно только меню, но и одежда Савки носила на себе следы женской «жалости». Так, в этот вечер я заметил на нем новый гарусный поясок и ярко-пунцовую ленточку, на которой висел на грязной шее медный крестик. Я знал о слабости прекрасного пола к Савке и знал, как он неохотно говорил о ней, а потому не продолжал своего допроса. Да и к тому же не время было говорить... Кутька, которая терлась около нас и терпеливо ожидала подачи, вдруг наострила уши и заворчала. Послышался отдаленный, прерывистый плеск воды.

— Кто-то бродом идет... — сказал Савка. Минуты через три Кутька опять заворчала и издала звук, похожий на кашель.

— Цыц! — крикнул на нее хозяин.

В потемках глухо зазвучали робкие шаги, и из рожи показался силуэт женщины. Я узнал ее, несмотря даже на то, что было темно, — это была Агафья Стрельчиха. Она несмело подошла к нам, остановилась и тяжело перевела дыхание. Запыхалась она не столько от ходьбы, сколько, вероятно, от страха и неприятного чувства, испытываемого всяким при переходе в ночное время через брод. Увидев возле шалаша вместо одного двоих, она слабо вскрикнула и отступила шаг назад.

— А... это ты! — произнес Савка, запихивая в рот лепешку.

— Я... я-с, — забормотала она, роняя на землю узелок с чем-то и косясь на меня. — Кланялся вам Яков и велел передать... вот тут что-то такое...

— Ну что врать: Яков! — усмехнулся Савка. — Нечего врать, барин знает, зачем ты пришла! Садись, гостьей будешь.

Агафья покосилась на меня и нерешительно села.

— А уж я думал, что ты не придешь нынче... — сказал Савка после продолжительного молчания. — Что ж сидеть? Ешь! Или нешто дать тебе водочки выпить?

— Выдумал! — проговорила Агафья. — Пьяницу какую нашел...

— А ты выпей... Жарче на душе станет... Ну! Савка подал Агафье кривой стаканчик. Та медленно выпила водку, не закусила, а только громко дунула.

— Принесла что-то... — продолжал Савка, развязывая узелок и придавая своему голосу снисходительно-шутливый оттенок. — Баба без того не может, чтоб чего не принести. А, пирог и картошка... Хорошо живут! — вздохнул он, поворачиваясь ко мне лицом. — Во всей деревне только у них еще и осталась с зимы картошка!

Впотьмах я не видел лица Агафьи, но по движению ее плеч и головы мне казалось, что она не отрывала глаз с лица Савки. Чтобы не быть третьим лицом на свидании, я решил пойти гулять и поднялся. Но в это время в роже неожиданно соловей взял две нижние контральтовые ноты. Через полминуты он пустил высокую мелкую дробь и, испробовав таким образом свой голос, начал петь. Савка вскочил и прислушался.

— Это вчерашний! — сказал он. — Постой же!..

И, сорвавшись с места, он бесшумно побежал к роще.

— Ну, на что он тебе сдался? — крикнул я ему вслед. — Оставь!

Савка махнул рукой — не кричите, мол, — и исчез в потемках. Когда хотел, Савка был прекрасным и охотником и рыболовом, но и тут его таланты тратились так же попусту, как и сила. Для шаблона он был ленив, а всю свою охотничью страсть отдавал пустым фокусам. Так, соловьев ловил он непременно руками, стрелял бекасинником щук или стоит, бывало, у реки по целым часам и изо всех сил старается поймать большим крючком маленькую рыбку.

Оставшись со мной, Агафья кашлянула и провела несколько раз по лбу ладонью... От выпитой водки она уж начинала пьянеть.

— Как живешь, Агаша? — спросил я ее после продолжительного молчания, когда уж неловко было молчать.

— Слава Богу... Вы же никому не рассказывайте, барин... — прибавила она вдруг шепотом.

— Ну, полно, — успокоил я ее. — Какая же ты все-таки бесстрашная, Агаша... А если узнает Яков?

— Не узнает...

— Ну, а вдруг!

— Нет... Я раньше его дома буду. Он теперь на линии и воротится, когда почтовый поезд проводит, а отсюда слышно, когда поезд идет...

Агафья еще раз провела рукой по лбу и посмотрела в ту сторону, куда ушел Савка. Соловей пел. Какая-то ночная птица низко пролетела над самой землей и, заметя нас, вздрогнула, зашуршала крыльями и полетела на ту сторону реки.

Скоро соловей умолк, но Савка не возвращался. Агафья встала, беспокойно сделала несколько шагов и опять села.

— Да что же это он? — не выдержала она. — Ведь поезд не завтра придет! Мне сейчас уходить нужно!

— Савка! — крикнул я. — Савка!

Мне не ответило даже эхо. Агафья беспокойно задвигалась и опять встала.

— Мне уходить пора! — проговорила она волнующимся голосом. — Сейчас поезд придет! Я знаю, когда поезда ходят!

Бедная бабенка не ошиблась. Не прошло и четверти часа, как послышался далекий шум.

Агафья остановила долгий взгляд на роще и нетерпеливо зашевелила руками.

— Ну, где же он? — заговорила она, нервно смеясь. — Куда же это его унесла легкая? Я уйду! Ей Богу, барин, уйду!

Между тем шум становился все явственней. Можно уж было отличить стук колес от тяжелых вздохов локомотива. Вот послышался свист, поезд глухо простучал по мосту... еще минута, и все стихло.

— Пожожу еще минутку... — вздохнула Агафья, решительно садясь. — Так и быть, пожожу!

Наконец в потемках показался Савка. Он бесшумно ступал босыми ногами по рыхлой, огородной земле и что-то тихо мурлыкал.

— Ведь вот счастье, скажи на милость! — весело засмеялся он. — Только что, это самое, значит, подошел к кусту и только что стал рукой целиться, а он и замолчал! Ах ты, пес лысый! Ждал, ждал, покуда опять запоет, да так и плюнул...

Савка неуклюже повалился на землю около Агафьи и, чтобы сохранить равновесие, ухватился обеими руками за ее талию.

— А ты что насупилась, словно тетка тебя родила? — спросил он.

При всем своем мягкосердечии и простодушии Савка презирал женщин. Он обходился с ними небрежно, свысока и даже унижался до презрительного смеха над их

чувством к его же собственной особе. Бог знает, быть может, это небрежное, презрительное обращение и было одной из причин его сильного, неотразимого обаяния на деревенских дульциней. Он был красив и строен, в глазах его всегда, даже при взгляде на презираемых им женщин, светилась тихая ласковость, но одними внешними качествами не объяснишь этого обаяния. Кроме счастливой наружности и своеобразной манеры обращения, надо думать, имела влияние на женщин также еще и трогательная роль Савки, как всеми признанного неудачника и несчастного изгнанника из родной избы в огородах.

— А расскажи-ка барину, зачем ты сюда пришла! — продолжал Савка, все еще держа Агафью за талию. — Ну-ка, расскажи, мужнина жена! Хо-хо... Нешто нам брат Агаша, еще водочки выпить?

Я поднялся и, пробираясь между грядками, пошел вдоль огорода. Темные грядки глядели, как большие приплюснутые могилы. От них веяло запахом вскопанной земли и нежной сыростью растений, начавших покрываться росой... Налево все еще светился красный огонек. Он приветливо моргал и, казалось, улыбался.

Я услышал счастливый смех. То смеялась Агафья.

«А поезд? — вспомнил я. — Поезд давно уже пришел».

Подождав немного, я вернулся к шалашу. Савка сидел неподвижно по-турецки и тихо, чуть слышно, мурлыкал какую-то песню, состоящую из одних только односложных слов, что-то вроде: «Фу ты, нуты... я да ты...» Агафья, опьяненная водкой, презрительной лаской Савки и духотой ночи, лежала возле него на земле и судорожно прижималась лицом к его колену. Она так далеко ушла в чувство, что и не заметила моего прихода.

— Агаша, а ведь поезд давно уж пришел! — сказал я.

— Пора, пора тебе, — подхватил мою мысль Савка, встряхивая головой. — Что разлеглась тут? Ты, бесстыжая!

Агафья встрепенулась, отняла голову от его колена, взглянула на меня и опять припала к нему.

— Давно уж пора! — сказал я.

Агафья заворочалась и привстала на одно колено... Она страдала... Полминуты вся ее фигура, насколько я мог разглядеть сквозь потемки, выражала борьбу и колебание. Было мгновение, когда она, будто очнувшись, вытянула корпус, чтобы подняться на ноги, ко тут какая-то непобедимая и неумолимая сила толкнула ее по всему телу, и она припала к Савке.

— А ну его! — сказала она с диким грудным смехом, и в этом смехе слышалась безрассудная решимость, бессилие, боль.

Я тихо побрел в рощу, а оттуда спустился к реке, где стояли наши рыболовные снасти. Река спала. Какой-то мягкий махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит. От нечего делать я нащупал одну леску и потянул ее. Она слабо напряглась и повисла, — ничего не поймалось... Того берега и деревни не было видно. В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас. Я пошарил на берегу, нашел выемку, которую приглядел еще днем, и уселся в ней, как в кресле. Долго я сидел... Я видел, как звезды стали туманиться, терять свою лучистость, как легким вздохом пронеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшихся ив...

— А-га-фья!.. — донесся из деревни чей-то глухой голос. — Агафья!

То вернувшийся и встревоженный муж искал по деревне свою жену. А с огородов слышался в это время одерживаемый смех: жена забылась, опьянела и счастьем нескольких часов старалась наверстать ожидавшую ее назавтра муку.

Когда я проснулся, около меня сидел Савка и слегка тряс мое плечо. Река, роща, оба берега, зеленые и умытые деревья и поле — все было залито ярким утренним све-

том. Сквозь тонкие стволы деревьев били в мою спину лучи только что взошедшего солнца.

— Так-то вы рыбу ловите? — усмехнулся Савка. — Ну, вставайте!

Я встал, сладко потянулся, и проснувшаяся грудь моя начала жадно пить влажный, душистый воздух.

— Агаша ушла? — спросил я.

— Вон она, — указал мне Савка в сторону, где был брод.

Я взглянул и увидел Агафью. Приподняв платье, растрепанная, со сползшим с головы платком, она переходила реку. Ноги ее ступали еле-еле...

— Знает кошка, чье мясо съела! — бормотал Савка, щура на нее глаза. — Идет и хвост поджала... Шкодливы эти бабы, как кошки, трусливы — как зайцы... Не ушла, дура, вчера, когда говорили ей! Теперь ей достанется, да и меня в волости... опять за баб драть будут...

Агафья ступила на берег и пошла по полю к деревне. Сначала она шагала довольно смело, но скоро волнение и страх взяли свое: она пугливо обернулась, остановилась и перевела дух.

— То-то, что страшно! — грустно усмехнулся Савка, глядя на ярко-зеленую полосу, которая тянулась по росистой траве вслед за Агафьей. — Не хочется идти! Муж-то уж целый час стоит и поджидает... Видали его?

Савка сказал последние слова улыбаясь, а у меня похолодело под сердцем. В деревне, около крайней избы, на дороге, стоял Яков и в упор глядел на возвращающуюся к нему жену. Он не шевелился и был неподвижен, как столб. Что он думал, глядя на нее? Какие слова готовил для встречи? Агафья постояла немного, еще раз оглянулась, точно ожидая от нас помощи, и пошла. Никогда я еще не видал такой походки ни у пьяных, ни у трезвых. Агафью будто корчило от взгляда мужа. Она шла то зигзагами, то топталась на одном месте, подгибая колени и разводя руками, то пятилась назад. Пройдя шагов сто, она оглянулась еще раз и села.

— Ты бы хоть за куст спрятался... — сказал я Савке. — Неравно тебя муж увидит...

— Он и без того знает, от кого это Агашка идет... На огород по ночам бабы не за капустой ходят — всем известно.

Я взглянул на лицо Савки. Оно было бледно и морщилось брезгливою жалостью, какая бывает у людей, когда они видят мучимых животных.

— Кошке смех, мышке слезы... — вздохнул он. Агафья вдруг вскочила, мотнула головой и смелой походкой направилась к мужу. Она, видимо, собралась с силами и решилась.

## МОЙ РАЗГОВОР С ПОЧТМЕЙСТЕРОМ

— Скажите, пожалуйста, Семен Алексеич, — обратился я к почтмейстеру, получая от него денежный пакет на один (1) рубль, — зачем это к денежным пакетам прикладывают пять печатей?

— Нельзя без этого... — ответил Семен Алексеич, значительно пошевелив бровями.

— Почему же?

— А потому... Нельзя!

— Видите ли, насколько я понимаю, эти печати требуют жертв как со стороны обывателей, так и со стороны правительства. Увеличивая вес пакета, они тем самым бьют по карману обывателя, отнимая же у чиновников время для их прикладывания,

они наносят ущерб казначейству. Если и приносят они кому-нибудь видимую пользу, то разве только сургучным фабрикантам...

— Надо же и фабрикантам чем-нибудь жить... — глубокомысленно заметил Семен Алексеич.

— Это так, но ведь фабриканты могли бы приносить пользу отечеству и на другом поприще... Нет, серьезно, Семен Алексеич, какой смысл имеют эти пять печатей? Нельзя же ведь думать, чтобы они прикладывались зря! Имеют они значение символическое, пророческое или иное какое? Если это не составляет государственной тайны, то объясните, голубчик!

Семен Алексеич подумал, вздохнул и сказал:

— М-да... Стало быть, без них нельзя, ежели их прикладывают!

— Почему же? Прежде, когда конверты были без подклейки, они, быть может, имели смысл, как предохранительное средство от посягателей, теперь же...

— Вот видите! — обрадовался почтмейстер. — А нешто посягателей нет?

— Теперь же, — продолжал я, — у конвертов есть подклейка из гуммиарабика, который прочнее всякого сургуча. К тому же вы запаковываете пакеты во столько бумаг и тюков, что пробраться к ним трудно даже инфузории, а не то что вору. И от кого запечатывать, не понимаю! Публика у вас не ворует, а ежели который из ваших нижних чинов захочет посягнуть, так он и на печати не посмотрит. Сами знаете, печать снять и опять к месту приложить — раз плюнуть!

— Это верно... — вздохнул Семен Алексеич. — От своих воров не убережешься...

— Ну, вот видите! К чему же печати?

— Ежели во все входит... — протяжно произнес почтмейстер, — да обо всем думать, как, почему да зачем, так это мозги раскорячатся, а лучше делать так, как показано... Право!

— Это справедливо... — согласился я. — Но позвольте еще один вопрос... Вы специалист по почтовой части, а потому скажите, пожалуйста, отчего это, когда человек родится или женится, то не бывает таких процедур, как ежели он деньги отправляет или получает? Взять для примера хоть мою мамашу, которая посылала мне этот самый рубль. Вы думаете, ей это легко пришлось? Не-ет-с, легче ей еще пятерых детей произвести, чем этот рубль посылать... Судите сами... Прежде всего ей нужно было пройти три версты на почту. На почте нужно долго стоять и ждать очереди. Цивилизация ведь не дошла еще на почте до стульев и скамей! Старушка стоит, а тут ей: «Погодите! Не толпитесь! Прошу не облакачиваться!»

— Без этого нельзя...

— Нельзя, но позвольте... Дождалась очереди, сейчас приемщик берет пакет, хмурится и бросает назад. «Вы, говорит, забыли написать «денежное»... Моя старушенция идет с почты в лавочку, чтоб написать там «денежное», из лавочки опять на почту ждать очереди...

Ну-с приемщик опять берет пакет, считает деньги и говорит- «Ваш сургуч?» А у моей мамашы этого сургуча даже в воображении нет. Дома его держать не приходится, а в лавочке, сами знаете, гривенник за палочку стоит. Приемщик, конечно, обижается и начинает суслить пакет казенным сургучом. Такие печачищи насуслит, что не лотами, а берковцами считать приходится. «Вашу, говорит, печатку?» А у моей мамашы, кроме наперстка да стальных очков, никакой другой мебели...

— Можно и без печатки...

— Но позвольте... Засим следуют весовые, страховые, за сургуч, за расписку, за... голова кружится!.. Чтобы рубль послать, непременно нужно с собой на всякий случай два иметь... Ну-с, рубль записывают в двадцати книгах и наконец посылают... Получаете теперь вы его здесь, на своей почте. Вы первым делом его в двадцати книгах записываете, пятью нумерами нумеруете и за десять замков прячете, словно разбойника

какого или святотатца. Засим почтальон приносит мне от вас объявление, и я расписуюсь, что объявление получено такого-то числа. Почтальон уходит, а я начинаю ходить из угла в угол и роптать: «Ах, мамаша, мамаша! За что вы на меня прогневались? И за какую такую провинность вы мне этот самый рубль прислали? Ведь теперь умрешь от хлопот!»

— А на родителей грех роптать! — вздохнул Семен Алексеич.

— То-то вот оно и есть! Грех, но как не возроптать? Тут дела по горло, а ты иди в полицию и удостоверь личность и подпись... Хорошо еще, что удостоверение только десять — пятнадцать копеек стоит, — а что, если б за него рублей пять брали? И для чего, спрашивается, удостоверение? Вы, Семен Алексеич! меня отлично знаете... И в бане я с вами бывал, и чай пивали вместе, и умные разговоры разговаривали... Для чего же вам удостоверение моей личности?

— Нельзя, форма!.. Форма, сударь мой, это такой предмет, что... лучше и не связываться... Формалистика, одним словом!

— Но ведь вы меня знаете!

— Мало ли что! Я знаю, что это вы, ну... а вдруг это не вы? Кто вас знает! Может, вы инкогнито!

— И рассудили бы вы: какой мне расчет подделывать чужую подпись, чтоб украсть деньги? Ведь это подлог-с! Гораздо меньшее наказание, ежели я просто приду сюда к вам и хапну все пакеты из сундука... Нет-с, Семен Алексеич, за границей это дело проще поставлено. Там почтальон входит к вам и — «Вы такой-то? Получите деньги!»

— Не может этого быть... — покачал головой почтмейстер.

— Вот вам и не может быть! Там все зиждется на взаимном доверии. Я вам доверяю, вы мне... Намедни приходит ко мне квартальный надзиратель получать судебные издержки... Ведь я же не потребовал от него удостоверения личности, а так ему деньги отдал! Мы, обыватели, не требуем с вас, а вы...

— Ежели во все вникать, — перебил меня Семен Алексеич, грустно усмехаясь, — да ежели все решать, как, что, почему да зачем, так, по-моему, лучше...

Почтмейстер не договорил, махнул рукой и, подумав немного, сказал:

— Не нашего ума это дело!

## ВОЛК

Помещик Нилов, плотный крепкий мужчина, славящийся на всю губернию своей необыкновенной физической силой, и следователь Куприянов, возвращаясь однажды вечером с охоты, завернули на мельницу к старику Максиму. До усадьбы Нилова оставалось только две версты, но охотники так утомились, что идти дальше не захотели и порешили сделать на мельнице продолжительный привал. Это решение имело тем больший смысл, что у Максима водились чай и сахар, а при охотниках имелся приличный запас водки, коньяку и разной домашней снеди.

После закуски охотники принялись за чай и разговорились.

— Что новенького, дед? — обратился Нилов к Максиму.

— Что новенького? — усмехнулся старик. — А то новенького, что собираюсь у вашей милости ружьеца попросить.

— На что тебе ружье?

— Чего-с? Оно, пожалуй, хоть и не надо. Я ведь это только так спрашиваю, для пущей важности... Все равно стрелять не вижу. Шут его знает, откуда бешеный волк взялся. Второй уж день, как тут бегаёт... Вчера ввечеру около деревни жеребенка и двух



собак зарезал, а нынче чуть свет выхожу я, а он, проклятый, сидит под ветлой и бьет себя лапой по морде. Я на него — «тю!»), а он смотрит на меня, как нечистая сила...

Я в него камнем, а он заклацал зубами, засветил очами, как свечками, и подался к осиновому узлеску... Испугался я до смерти.

— Чорт знает что... — пробормотал следователь. — Бешеный волк бегаёт, а мы тут шатаемся...

— Ну, так что же? Ведь мы с ружьями.

— Не станете же вы стрелять в волка дробью...

— Зачем стрелять? Можно просто прикладом уложить.

И Нилов стал доказывать, что нет ничего легче, как убить волка прикладом, и рассказал один случай, когда он одним ударом обыкновенной трости уложил на месте напавшую на него большую бешеную собаку.

— Вам хорошо рассуждать! — вздохнул следователь, с завистью поглядев на его широкие плечи. — Силища у вас — слава Тебе, Господи, на десятерых хватит. Не то, что тростью, вы пальцем собаку уложите. Простой же смертный, пока соберется поднять палку, да пока наметит место, по которому ударить, да пока что, собака успеет его раз пять укусить. Неприятная история... Нет болезни мучительнее и ужаснее, как водобоязнь. Когда мне впервые довелось увидеть бешеного человека, я дней пять потом ходил, как шальной, и возненавидел тогда всех в мире собачников и собак. Во-первых, ужасна эта скоропостижность, экспромтность болезни... Идет человек здоровый, покойный, ни о чем не думает, и вдруг ни с того ни с сего — цап его бешеная собака! Человеком ментально овладевает ужасная мысль, что он погиб безвозвратно, что нет спасения... Засим можете себе вообразить томительное, гнетущее ожидание болезни, не оставляющее укушенного ни на одну минуту. За ожиданием следует сама болезнь... Ужаснее же всего, что эта болезнь неизлечима. Уж коли заболел, то пиши пропало. В медицине, насколько мне известно, нет даже намека на возможность излечения.

— А у нас на деревне лечат, барин! — сказал Максим. — Мирон кого угодно вылечит.

— Чепуха... — вздохнул Нилов. — Насчет Мирона все это одни только разговоры. Прошлым летом на деревне Степку искусала собака, и никакие Мироны не помогли... Как ни поили его всякою дрянью, а все-таки взбесился. Нет, дедуся, ни черта не поделаешь. Случись со мною такая оказия, укуси меня бешеная собака, я бы себе пулю пустил в лоб.

Страшные рассказы о водобоязни имели свое действие. Охотники постепенно умолкли и продолжали пить молча. Каждый невольно задумался о роковой зависимости жизни и счастья человека от случайностей и пустяков, по-видимому, ничтожных, не стоящих, как говорится, яйца выеденного. Всем стало скучно и грустно.

После чаю Нилов потянулся и встал... Ему захотелось выйти наружу. Походив немного около закровов, он отворил маленькую дверцу и вышел. На дворе давно уже кончились сумерки и наступил настоящий вечер. От реки веяло тихим, непробудным сном.

На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени; на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки. Два колеса мельницы, наполовину спрятавшись в тени широкой ивы, глядели сердито, уныло...

Нилов вздохнул всей грудью и взглянул на реку... Ничто не двигалось. Вода и берега спали, даже рыба не плескалась... Но вдруг Нилову показалось, что на том берегу, повыше кустов ивняка, что-то похожее на тень прокатилось черным шаром. Он прищурил глаза. Тень исчезла, но скоро опять показалась и зигзагами покатилась к плотине.

«Волк!» — вспомнил Нилов.

Но прежде чем в голове его мелькнула мысль о том, что нужно бежать назад, в мельницу, темный шар уже катился по плотине, не прямо на Нилова, а зигзагами.

«Если я побегу, то он нападет на меня сзади, — соображал Нилов, чувствуя, как на голове у него под волосами леденеет кожа. — Боже мой, даже палки нет! Ну, буду стоять и...и задую его!»

И Нилов стал внимательно следить за движениями волка и за выражением его фигуры. Волк бежал по краю плотины, уже поравнялся с ним...

«Он мимо бежит!» — подумал Нилов, не спуская с него глаз.

Но в это время волк, не глядя на него и будто нехотя, издал жалобный скрипучий звук, повернул к нему морду и остановился. Он точно соображал: напасть или пренебречь?

«Ударить по голове кулаком... — думал Нилов. — Ошеломить...»

Нилов так растерялся, что не понял, кто первый начал борьбу: он или волк? Он только понял, что настал какой-то особенно страшный, критический момент, когда понадобилось сосредоточить всю силу в правой руке и схватить волка за шею около затылка. Тут произошло нечто необыкновенное, чему трудно поверить и что самому Нилову казалось сном. Схваченный волк жалобно зарычал и рванулся с такой силой, что складка кожи, холодная и мокрая, сжатая рукою Нилова, заскользила между пальцами. Волк, стараясь высвободить свой затылок, поднялся на задние лапы. Тогда Нилов левой рукой схватил его за правую лапу, сжал ее у самой подмышки, потом быстро отнял свою правую руку от затылка волка и, сжавши ею левую подмышку, поднял волка на воздух. Все это было делом одного мгновения. Чтобы волк не укусил его за руки и чтобы не дать его голове ворочаться, Нилов большие пальцы обеих рук вонзил в его шею около ключиц, словно шпоры... Волк уперся лапами в его плечи и, получив таким образом точку опоры, затрясся с страшной силой. Укусить руки Нилова до локтя он не мог, протянуть же морду к лицу и плечам ему мешали пальцы, давившие его шею и причинявшие ему сильную боль...

«Скверно! — думал Нилов, оттягивая возможно дальше назад свою голову. — Слюна его попала мне на губу. Стало быть, все равно уже пропал, даже если и избавлюсь от него каким-нибудь чудом».

— Ко мне! — закричал он. — Максим! Ко мне! Оба, Нилов и волк, головы которых были на одном уровне, глядели в глаза друг другу... Волк щелкал зубами, издавал скрипучие звуки и брызгал... Задние лапы его, ища опоры, ерзали по коленям Нилова... В глазах светилась луна, но не видно было ничего, похожего на злобу; они плакали и походили на человеческие.

— Ко мне! — закричал еще раз Нилов. — Максим! Но на мельнице его не слышали. Он инстинктивно чувствовал, что от громкого крика может убавиться его сила, а потому кричал не громко.

«Буду пятиться назад... — решил он. — Дойду задом до дверей и там крикну».

Он начал пятиться, но не прошел и двух аршин, как почувствовал, что его правая рука слабеет и отекает. Затем вскоре наступил момент, когда он услышал свой собственный, душу раздирающий крик и почувствовал острую боль в правом плече и влажную теплоту, разлившуюся вдруг по всей руке и по груди. Затем он слышал голос Максима, понял выражение ужаса на лице прибежавшего следователя...

Выпустил он из рук своего врага, когда у него насильно уж разжали пальцы и доказали ему, что волк убит. Отуманенный сильными ощущениями, чувствуя уж кровь на бедрах и в правом сапоге, близкий к обмороку, вернулся он на мельницу. Огонь, вид самовара и бутылок привели его в чувство и напомнили ему все только что пережитые им ужасы и опасность, которая для него только что еще начиналась. Бледный, с широкими зрачками и с мокрой головой, он сел на мешки и в изнеможении опустил

руки. Следователь и Максим раздели его и занялись раной. Рана оказалась солидной. Волк порвал кожу на всем плече и тронул даже мускулы.

— Отчего вы не бросили его в реку? — возмущался бледный следователь, останавливая кровотечение. — Отчего в реку вы его не бросили?

— Не догадался! Боже мой, не догадался!

Следователь начал было утешать и обнадеживать. Но после тех густых красок, на которые он был так щедр, когда раньше описывал водобоязнь, всякие утешительные речи были бы неуместны, а потому он почел за лучшее молчать. Перевязавши кое-как рану он послал Максима в усадьбу за лошадьми, но Нилов не стал дожидаться экипажа и пошел домой пешком. Утром часов в шесть он, бледный, непричесанный, похудевший от боли и бессонной ночи, приехал на мельницу.

— Дед, — обратился он к Максиму, — вези меня к Мирону! Скорей! Идем, садись в коляску!

Максим, тоже бледный и не спавший всю ночь, сконфузился, несколько раз оглянулся и сказал шепотом:

— Не надо, барин, к Мирону ехать... И я, извините, лечить умею.

— Хорошо, только скорее, пожалуйста!

И Нилов нетерпеливо затопал ногами. Старик поставил его лицом к востоку, прошептал что-то и дал ему хлебнуть из кружки какой-то противной теплой жидкости с полынным вкусом.

— А Степка умер... — пробормотал Нилов. — Допустим, что у народа есть средства, но... но почему же Степка умер? Ты все-таки свези меня к Мирону!

От Мирона, которому он не верил, он поехал в больницу к Овчинникову. Получив здесь пилюли из белладонны и совет лечь в постель, он переменял лошадей и, не обращая внимания на страшную боль в руке, поехал в город, к городским докторам.

Дня через четыре, поздно вечером, он вбежал к Овчинникову и повалился на диван.

— Доктор! — начал он, задыхаясь и вытирая рукавом пот с бледного, похудевшего лица. — Григорий Иваныч! Делайте со мной, что хотите, но дальше оставаться я так не могу! Или лечите меня, или отравите, а так не оставляйте! Бога ради! Я сошел с ума!

— Вам нужно лечь в постель, — сказал Овчинников.

— Ах, подите вы с вашим лежаньем! Я вас спрашиваю толком, русским языком: что мне делать? Вы врач и должны мне помочь! Я страдаю! Каждую минуту мне кажется, что я начинаю беситься. Я не сплю, не ем, дело валится у меня из рук! У меня вот револьвер в кармане. Я каждую минуту его вынимаю, чтобы пустить себе пулю в лоб! Григорий Иваныч, ну да займитесь же мною, Бога ради! Что мне делать? Вот что, не поехать ли мне к профессорам?

— Это все равно. Поезжайте, если хотите.

— Послушайте, а если я, положим, объявлю конкурс, что если кто вылечит, то получит пятьдесят тысяч? Как вы думаете, а? Впрочем, пока напечатаете, пока... то успеешь раз десять взбеситься. Я готов теперь все состояние отдать! Вылечите меня, и я дам вам пятьдесят тысяч! Займитесь же, ради Бога! Не понимаю этого возмутительного равнодушия! Поймите, что я теперь каждой мухе завидую... я несчастлив! Семья моя несчастна!

У Нилова затряслись плечи, и он заплакал.

— Послушайте, — начал утешать его Овчинников. — Я отчасти не понимаю этого вашего возбужденного состояния. Что вы плачете? И зачем так преувеличивать опасность? Поймите, ведь у вас гораздо больше шансов не заболеть, чем заболеть. Во-первых, из ста укушенных заболевают только тридцать. Потом, что очень важно,

волк кусал вас через одежду, значит, яд остался на одежде. Если же в рану и попал яд, то он должен был вытечь с кровью, так как у вас было сильное кровотечение. Относительно водобоязни я совершенно покоен, а если меня и беспокоит что-нибудь, так это только рана. При вашей небрежности легко может приключиться рожа или что-нибудь вроде.

— Вы думаете? Утешаете вы или серьезно?

— Честное слово, серьезно. Возьмите-ка, почитайте! Овчинников взял с полки книгу и, пропуская страшные места, стал читать Нилову главу о водобоязни.

— Стало быть, вы напрасно беспокоитесь, — сказал он, кончив чтение. — Ко всему этому прибавьте еще, что нам с вами неизвестно, был ли то бешеный волк, или здоровый.

— М-да... — согласился Нилов улыбаясь. — Теперь понятно, конечно. Стало быть, все это чепуха?

— Разумеется, чепуха.

— Ну, спасибо, родной... — засмеялся Нилов, весело потирая руки. — Теперь, умница вы этакий, я покоен... Я доволен и даже счастлив, ей Богу... Нет, честное слово... даже.

Нилов обнял Овчинникова и поцеловал его три раза. Потом на него напал мальчишеский задор, к которому так склонны добродушные, физически сильные люди. Он схватил со стола подкову и хотел ее разогнуть, но, обессилев от радости и от боли в плече, он ничего не мог сделать; ограничился только тем, что обнял доктора левою рукой ниже талии, поднял его и пронес на плече из кабинета в столовую. Вышел он от Овчинникова веселый, радостный, и казалось даже, что с ним вместе радовались и слезинки, блестевшие на его широкой черной бороде. Спускаясь вниз по ступеням, он засмеялся басом и потряс перила крыльца с такой силой, что одна балясина выскочила, все крыльцо затрепетало под ногами Овчинникова.

«Какой богатырь! — думал Овчинников, с умилением глядя на его большую спину. — Какой молодец!»

Севши в коляску, Нилов опять стал с самого начала и с большими подробностями рассказывать о том, как он на плотине боролся с волком.

— Была игра! — кончил он, весело смеясь. — Будет о чем вспомнить в старости. Погоняй, Тришка!

## В ПАРИЖ!

Секретарь земской управы Грязнов и учитель уездного училища Лампадкин однажды под вечер возвращались с именин полицейского надзирателя Вонючкина. Идя под руку, они вместе очень походили на букву «Ю». Грязнов тонок, высок и жилист, одет в обтяжку и похож на палку, а Лампадкин толст, мясист, одет во все широкое и напоминает ноль. Оба были навеселе и слегка пошатывались.

— Рекомендована новая грамматика Грота, — бормотал Лампадкин, всхлипывая своими полными грязю калошами. — Грот доказывает ту теорию, что имена прилагательные в родительном падеже единственного числа мужеского рода имеют не аго, а ого... Вот тут и понимай! Вчера Перхоткина без обеда за ого в слове золотого оставил, а завтра, значит, должен буду перед ним глазами дупать... Стыд! Срам!

Но Грязнов не слушал ученых разговоров педагога. Все его внимание было обращено на грязный мостик перед трактиром Ширяева, где на этот раз происходило маленькое недоразумение. Дюжины две обывательских собак, сомкнувшись цепью, окружали черную, шершавую дворняжку и наполняли воздух протяжным победным

лаем. Дворняжка вертелась, как на иголках, скалила на врагов зубы и старалась поджать как можно дальше под живот свой оципаный хвост. Случай неважный, но секретарь управы принадлежит к числу тех восприимчивых, легко воспламеняющихся натур, которые не могут равнодушно видеть, если кто ссорится или дерется. Поравнявшись с группой собак, он не утерпел, чтобы не вмешаться.

— Рви его! Куси, анафему! Фюйть! — начал он рычать и подсвистывать, примыкая к собачьей цепи. — Рррр... Так его! Жарь!

И, чтобы еще больше раззадорить собак, он нагнулся и дернул дворняжку за заднюю ногу. Та взвизгнула и, прежде чем Грязнов успел поднять руку, укусила его за палец. Тотчас же, словно испугавшись своей смелости, она перепрыгнула через цепь, мимоходом цапнула Лампадкина за икру и побежала вдоль по улице. Собаки за ней.

— Ах ты, шут! — закричал ей вслед Грязнов, потрясая пальцем. — Чтоб тебя раздавило, чортова тварь! Лови! Бей!

— Лови! — раздались голоса, мешаясь со свистками. — Гони! Бей! Братцы, бешеная! Хвост поджала и морду вниз держит! Самая она и есть бешеная! Тю!

Приятеля дождался, когда собаки скрылись из виду, взялись под руки и пошли дальше. Придя домой (педагог за семь рублей в месяц жил и столовался у секретаря), они уже забыли историю с дворняжкой... Сняв грязные брюки и развесив их для просушки на дверях, они занялись чаепитием. Настроение духа у обоих было отменное, философски благодушное... Но часа через полтора, когда они с теткой, свояченицей и с четырьмя сестрами Грязнова сидели за столом и играли в фохана, вдруг неожиданно явился уездный врач Каташкин и несколько нарушил их покой.

— Ничего, ничего... я не дама! — начал пришедший, видя, как секретарь и педагог стараются скрыть под столом свои невыразимые и босые ноги. — Меня, господа, к вам прислали! Говорят, что вас обоих укусила собака.

— Как же, как же... укусила, — сказал Грязнов, ухмыляясь во все лицо. — Очень приятно! Садитесь, Митрий Фомич! Давно не видались, побей меня Бог... Чаю не хотите ли? Глаша, водочку принеси! Вы чем закусывать будете: редькой или колбасой?

— Говорят, что собака бешеная! — продолжал доктор встревоженно глядя на приятелей. — Бешеная она или нет, но все-таки нельзя относиться так небрежно. Чем чорт не шутит? Покажите-ка, где она вас укусила?

— А, да наплюйте! — махнул рукой секретарь. — Укусила чуть-чуть... за палец... От этого не сбесишься... Может, вы пиво пить будете? Глашка, беги к жидовке и скажи, чтоб в долг две бутылки пива дала!

Каташкин сел и, насколько у него хватало силы перекричать пьяных, начал пугать их водобоязнию... Те сначала ломались и бравировали, но потом струсили и показали ему укушенные места. Доктор осмотрел раны, прижег их ляписом и ушел. После этого приятели легли спать и долго спорили о том, из чего делается ляпис.

На другой день утром Грязнов сидел на самой верхушке высокого тополя и привязывал там скворечню. Лампадкин стоял внизу под деревом и держал молоток и веревочки. Садик секретаря был еще весь в снегу, но от каждой веточки и мокрой коры деревьев так и веяло весной.

— Грот доказывает еще ту теорию, — бормотал педагог, — что ворота не среднего рода, а мужеского. Гм... Значит, писать нужно не красные ворота, а красные... Ну, это пусть он оближется! Скорей в отставку подам, чем изменю насчет ворот свои убеждения.

И педагог раскрыл уже рот и величественно поднял вверх молоток, чтобы начать громить ученых академиков, как в это время скрипнула садовая калитка, и в сад неожиданно-негаданно, словно чорт из люка, вошел уездный предводитель Позвоночников. Увидев его, Лампадкин от изумления побледнел и выронил молоток.

— Здравствуйте, милейший! — обратился к нему предводитель. — Ну, как ваше здоровье? Говорят, что вас и Грязнова вчера бешеная собака искусала!

— Может, она вовсе не бешеная, — пробормотал с верхушки тополя Грязнов. — Одни только бабьи разговоры!

— Может быть; а может быть, и бешеная! — сказал предводитель. — Так ведь нельзя рассуждать... На всякий случай нужно принять меры!

— Какие же меры-с? — тихо спросил педагог. — Нас вчера прижигали-с!

— Сейчас мне говорил доктор, но этого недостаточно. Нужно что-нибудь более радикальное. В Париж бы ехали, что ли... Да так, вероятно, и придется вам сделать: езжайте в Париж!

Педагог выронил веревочки и окаменел, а секретарь от удивления едва не свалился с дерева...

— В Пари-иж? — протянул он. — Да что я там буду делать?

— Вы поедете к Пастеру... Конечно, это немножко дорого будет стоить, но что делать? Здоровье и жизнь дороже... И вы успокойтесь, да и мы будем покойны... Я сейчас говорил с председателем Иваном Алексеичем. Он думает, что управа даст вам на дорогу... С своей стороны моя жена жертвует вам двести рублей... Что же вам еще нужно? Собирайтесь! А пачпорты я быстро вам выхлопочу...

— Сбесились чудаки! — ухмыльнулся Грязнов по уходе предводителя. — В Париж! Ах, дурни, прости Господи! Добро бы еще в Москву или в Киев, а то — на тебе!., в Париж! И из-за чего? Хоть бы собака путевая, породистая какая, а то из-за дворняжки — тьфу! Скажи на милость, каких аристократов нашел: в Париж! Чтоб я пропал, ежели поеду!

Педагог долго в раздумье глядел на землю, потом весело заржал и сказал вдохновенным голосом:

— Знаешь что, Вася? Поедем! Накажи меня Господь, поедем! Ведь Париж, заграница... Европа!

— Чего я там не видел? Ну его!

— Цивилизация! — продолжал восторгаться Лампадкин. — Господи, какая цивилизация! Виды эти, разные Везувии... окрестности! Что ни шаг, то и окрестности! Ей Богу, поедем!

— Да ты очумел, Илюшка! Что мы там с немцами делать будем?

— Там не немцы, а французы!

— Один шут! Что я с ними буду делать? На них гляючи, я со смеху околею! При моем характере я их всех там перебью! Поезжай только, так сам не рад будешь... И оберут и оскоробишься... А еще, чего доброго, вместо Парижа попадешь в такую поганую страну, что потом лет пять плевать будешь...

Грязнов наотрез отказался ехать, но тем не менее вечером того же дня приятели ходили, обнявшись, по городу и рассказывали встречным о предстоящей поездке. Секретарь был угрюм, зол и беспокоен, педагог же восторженно размахивал руками и искал, с кем бы поделиться своим счастьем...

— Все бы ничего, коли б не этот Париж! — утешал себя вслух Грязнов. — Не жизнь, а малина! Все жалостно на тебя смотрят, везде, куда ни придешь, закуска и выпивка, все деньги дают, но... Париж! За каким шутком я туда поеду? Прощай, братцы! — останавливал он встречных. — В Париж едем! Не поминай лихом! Может, и не увидимся больше.

Через пять дней на местной станции происходили торжественные проводы секретаря и педагога. Провожать собрались все интеллигенты, начиная с предводителя и кончая подслеповатым пасынком надзирателя Вонючкина. Предводительша снабдила путешественников двумя рекомендательными письмами, а мировиха дала им сто рублей с просьбой купить по образчику материи... Благопожеланиям, вздохам и

стенаниям конца не было. Тетка, свояченица и четыре сестры Грязнова разливались в три ручья. Педагог, видимо, храбрился и не унывал, секретарь же, выпивший и расчувствовавшийся, все время надувался, чтобы не заплакать... Когда пробил второй звонок, он не вынес и разревелся...

— Не поеду! — рванулся он от вагона. — Пусть лучше сбешусь, чем к пастору ехать! Ну его!

Но его убедили, утешили и посадили в вагон. Поезд тронулся.

Если держаться строго хронологического порядка, то не дальше, как через четыре дня после проводов, сестры Грязнова, сидя у окошка и тоскуя, увидели вдруг идущего домой Лампадкина. Педагог был красен, выпачкан в грязи и то и дело ронял свой чемодан. Сначала девицы думали, что это привидение, но скоро, когда стукнула калитка и послышалось из сеней знакомое сопенье, явление потеряло свой спиритический характер. Сестры замерли от удивления и вместо вопроса обратили к пришедшему свои вытянувшиеся, побледневшие лица. Педагог замигал глазами и махнул рукой, потом заплакал и еще раз махнул рукой.

— Приехали это мы в Курск... — начал он, хрипло плача. — Вася мне и говорит: «На вокзале, говорит, дорого обедать, а пойдем, говорит, тут около вокзала трактир есть. Там и пообедаем». Мы взяли с собой чемоданы и пошли (педагог всхлипнул)... А в трактире Вася рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой... «Ты, кричит, меня на погибель везешь!» Шуметь начал... А как после водки херес стал пить, то... протокол составили. Дальше — больше и... все до копейки! Еле на дорогу осталось...

— Где же Вася? — встревожились девицы.

— В Ку...Курске... Просил, чтоб вы ему скорей на дорогу денег выслали...

Педагог мотнул головой, утер лицо и добавил:

— А Курск хороший город! Очень хороший! С удовольствием там день прожил...

## ВЕСНОЙ

С земли еще не сошел снег, а в душу уже просится весна. Если вы когда-нибудь выздоравливали от тяжелой болезни, то вам известно блаженное состояние, когда замираешь от смутных предчувствий и улыбаешься без всякой причины. По-видимому, такое же состояние переживает теперь и природа. Земля холодна, грязь со снегом хлюпает под ногами, но как кругом все весело, ласково, приветливо! Воздух так ясен и прозрачен, что если взобраться на голубятню или на колокольню, то, кажется, увидишь всю вселенную от края до края. Солнце светит ярко, и лучи его, играя и улыбаясь, купаются в лужах вместе с воробьями. Речка надувается и темнеет; она уже проснулась и не сегодня-завтра заревет. Деревья голы, но уже живут, дышат.

В такое время хорошо гнать метлой или лопатой грязную воду в канавах, пускать по воде кораблики или долбить каблуками упрямый лед. Хорошо также гонять голубей под самую высь поднебесную или лазить на деревья и привязывать там скворечни. Да, все хорошо в это счастливое время года, в особенности если вы молоды, любите природу, и если вы не капризны, не истеричны, и если по службе не обязаны сидеть в четырех стенах с утра до вечера. Нехорошо, если вы больны, если чахнете в канцелярии, если знаете с музами.

Да, весной не следует знать с музами.

Вы поглядите, как хорошо, как славно чувствуют себя обыкновенные люди. Вот садовник Пантелей Петрович спозаранку нарядился в широкополую соломенную шляпу и никак не может расстаться с маленьким сигарным окурком, который он под-

нял еще утром на аллее; посмотрите: он стоит, подбоченясь, перед кухонным окном и рассказывает повару, какие он вчера купил себе сапоги. Вся его длинная и узкая фигура, за которую его вся дворня зовет «стриюцким», выражает самодовольство и достоинство. На природу глядит он с сознанием своего превосходства над ней, и во взгляде у него что-то хозяйское, повелительное и даже презрительное, точно, сидя у себя там в оранжерее или копаясь в саду, он узнал про растительное царство что-то такое, чего не знает никто.

Было бы напрасно толковать ему, что природа величественна, грозна и полна чудесных чар, перед которыми должен склонить свою шею гордый человек. Ему кажется, что он знает все, все тайны, чары и чудеса, а прекрасная весна для него такая же рабыня, как та узкогрудая исхудалая женщина, которая сидит в пристройке около оранжереи и кормит постными щами его детей.

А охотник Иван Захаров? Этот в истрепанной драповой куртке и в калошах на босу ногу сидит около конюшни на опрокинутом бочонке и делает из старых пробок пыжи. Он собирается на тягу. В его воображении рисуется путь, по которому он пойдет, со всеми тропинками, зажорами, ручьями; закрыв глаза, он видит длинный, прямой ряд высоких стройных деревьев, под которыми он будет стоять с ружьем, дрожа от вечерней прохлады, от сладкого волнения и напрягая свой тонкий слух; ему чудятся звуки, которые издает харкающий вальдшнеп; он уже слышит, как в монастыре, по соседству, после всенощной, пока он стоит на тяге, трезвонят во все колокола... Ему хорошо, он безмерно, бестолково счастлив.

Но теперь поглядите на Макара Денисыча, молодого человека, который служит у генерала Стремоухова не то писарем, не то младшим управляющим. Он получает вдвое больше, чем садовник, носит белые манишки, курит двухрублевый табак, всегда сыт и одет и всегда при встрече с генералом имеет удовольствие пожимать белую, пухлую руку с крупным бриллиантовым перстнем, но тем не менее все-таки как он несчастлив! Вечно он с книжками, выписывает он на двадцать пять рублей журналов и пишет, пишет... Пишет он каждый вечер, каждое после-обеда, когда все спят, и все написанное прячет в свой большой сундук. В этом сундуке на самом дне лежат аккуратно сложенные брюки и жилеты; на них еще не распечатанная пачка табаку, десяток коробочек из-под пилюль, пунцовый шарфик, кусок глицеринового мыла в желтой обертке и много всякого другого добра, а по краям сундука робко жмутся стопки исписанной бумаги, и тут же два-три номера «Нашей губернии», где напечатаны рассказы и корреспонденции Макара Денисыча. Весь уезд считает его литератором, поэтом, все видят в нем что-то особенное, не любят его, говорят, что он не так говорит, не так ходит, не так курит, и сам он однажды на мировом съезде, куда был вызван в качестве свидетеля, проговорился некстати, что занимается литературой, причем покраснел так, как будто украл курицу.

Вот он, в синем пальто, в плюшевой шапочке и с тросточкой в руке, тихо идет по аллее... Сделает шагов пять, остановится и уставит глаза в небо или на старого грача, который сидит на ели.

Садовник стоит, подбоченясь, на лице у охотника написана строгость, а Макар Денисыч согнулся, робко кашляет и кисло смотрит, точно весна давит и душит его своими испарениями, своей красотой!.. Душа его полна робости. Вместо восторгов, радости и надежд весна порождает в нем только какие-то смутные желания, которые тревожат его, и вот он ходит и сам не разберет, что ему нужно. В самом деле, что ему нужно?

— А, здравствуйте, Макар Денисыч! — слышит он вдруг голос генерала Стремоухова. — Что, еще не приезжали с почты?

— Нет еще, ваше превосходительство, — отвечает Макар Денисыч, оглядывая коляску, в которой сидит здоровый веселый генерал со своей маленькой дочкой.



— Чудесная погода! Совсем весна! — говорит генерал. — А вы гуляете? Чай, вдохновляетесь?

А в глазах у него написано: «Бездарность! Посредственность!»

— Ах, батенька! — говорит генерал, берясь за вожжи. — Какую прекрасную штучку я прочел сегодня за кофе! Пустячок, в две странички, но какая прелесть! Жаль, что вы не владеете французским языком, я дал бы вам почитать...

Генерал наскоро, пятое через десятое, рассказывает содержание прочитанного им рассказа, а Макар Денисыч слушает и чувствует неловкость, словно его вина в том, что он не французский писатель, который пишет маленькие штучки.

«Не понимаю, что он там нашел хорошего? — думает он, глядя вслед исчезающей коляске. — Содержание пошлое, избитое... Мои рассказы гораздо содержательнее».

И Макара начинает сосать червь. Авторское самолюбие — это боль, это катар души; кто болеет им, тому уже не слышно пения птиц, не видно блеска солнца, не видно весны... Нужно лишь чуть-чуть прикоснуться к этой болячке, чтобы сжался болезненно весь организм. Отравленный Макар идет дальше и через садовую калитку выходит на грязную дорогу. Тут, подпрыгивая всем телом на высокой бричке, спешит куда-то господин Бубенцов.

— А, господину писателю! — кричит он. — Наше вам!

Будь Макар Денисыч только писарем или младшим управляющим, то никто бы не посмел говорить с ним таким снисходительным, небрежным тоном, но он «писатель», он бездарность, посредственность!

Такие, как господин Бубенцов, ничего не понимают в искусстве и мало интересуются им, но зато когда им приходится встречаться с бездарностями и посредственностями, то они неумолимы, безжалостны. Они готовы простить кого угодно, но только не Макара, этого неудачника-чудака, у которого в сундуке лежат рукописи. Садовник сломал старый фикус и сгноил много дорогих растений, генерал ничего не делает и проедает чужое, господин Бубенцов, когда был мировым судьей, разбирает дела только раз в месяц и, разбирая, заикался, путал законы и нес чепуху, но все это прощается, не замечается; но не заметить и пройти молчаливым мимо бездарного Макара, пишущего неважные стихи и рассказы — никак нельзя, не сказав чего-нибудь обидного. Что свояченица генерала бьет горничных по щекам и йпанится за картами, как прачка, что попадья никогда не платит проигрыша, что помещик Флюгин украл у помещика Сивоборова собаку, никому до этого дела нет, но то что недавно из «Нашей губернии» возвратили Макару плохой рассказ, известно всему уезду и вызывает насмешки, длинные разговоры, негодование, и Макара Денисыча уже называют Макашкой.

Если кто не так пишет, то не стараются объяснить, почему это «не так», а просто говорят:

— Опять этот сукин сын чепуху написал!

Наслаждаться весной мешает Макару мысль, что его не понимают, не хотят и не могут понять. Ему почему-то кажется, что если бы его поняли, то все было бы прекрасно. Но как могут понять, талантлив он или нет, если во всем уезде никто ничего не читает или читает так, что лучше бы совсем не читать. Как втолковать генералу Стремоухову, что та французская штучка ничтожна, плоска, банальна, избита, как втолковать ему, если он, кроме таких плоских штучек, никогда не читал ничего другого?

А как раздражают Макара женщины!

— Ах, Макар Денисыч! — говорят они ему обыкновенно. — Как жаль, что вас сегодня не было на базаре! Если б вы видели, как смешно дрались два мужика, вы наверно бы описали!

Все это, конечно, пустяки, и философ не обратил бы внимания, пренебрег бы, но Макар чувствует себя, как на угольях. Душа его полна чувства одиночества, си-

ротства, тоски, той самой тоски, какую испытывают только очень одинокие люди и большие грешники. Никогда, ни разу в жизни, он не стоял так подбоченясь, как стоит садовник. Изредка разве, этак раз в пять лет, встретившись где-нибудь в лесу, или на дороге, или в вагоне с таким же неудачником-чудаком, как он сам, и заглянув ему в глаза, он вдруг оживет на минутку, оживет и тот. Они долго говорят, спорят, восхищаются, восторгаются, хохочут, так что, со стороны глядя, их обоих можно принять за безумных.

Но обыкновенно и эти редкие минуты не обходятся без отравы. Словно на смех, Макар и неудачник, с которым он встретился, отрицают друг в друге таланты, не признают друг друга, завидуют, ненавидят, раздражаются, расходятся врагами. Так и изнашивается, тает их молодость без радостей, без любви и дружбы, без душевного покоя и без всего того, что так любит описывать по вечерам в минуты вдохновения угрюмый Макар.

А с молодостью проходит и весна.

## МНОГО БУМАГИ

### *Архивное изыскание*

«Имею честь покорнейше заявить 8-го сего ноября замечена болезнь на двух мальчиках, которые ребята пришедши объяснили что в школе и протчии ребята хворают глоткой жар и по всему телу сып, ходят они в Жаровскую земскую школу. *Ноября 19-го дня 1885 г.* Староста Ефим Кирилов».

«М. В. Д. N—ская Уездная Земская управа. Земскому Врачу Г. Радушному. Вследствие заявления старосты села Курносова от *19-го ноября*, предлагаю Вам, м. г., отправиться в Курносое и озаботиться по правилам науки о скорейшем прекращении эпидемии болезни, по всем признакам, скарлатины. Из названного заявления явствует, что заболевания начались в Жаровской школе, на каковую и прошу обратить внимание. *4-го декабря 1885 г.* За председателя: С. Паркин».

«Г. Приставу 2-го стана N—ского уезда. Вследствие отношения уездной земской управы за № 102 от *4-го декабря*, которое при сем прилагаю, прошу Вас, м. г., сделать распоряжение о закрытии школы в селе Жарове впредь до прекращения скарлатинной эпидемии. *13-го Декабря 1885 г.* Земский врач Радушный».

«М. В. Д. Пристава 2-го стана N—ского уезда. № 1011. В Жаровское земское училище. Земский Врач Г. Радушный 13-го декабря сего года сообщил мне, что в селе Жарове усмотрена им на детях эпидемия болезни скарлатины (или, как называют в народе, дифтерита). Во избежание проявления более грустных результатов от упомянутой болезни, которая прогрессивно увеличивается, и озабочиваясь необходимостью принять установленные законом меры к предупреждению и пресечению случаев развивающегося заболевания, я с своей стороны поставлен в необходимость покорнейше просить: не признаете ли вы возможным распустить учащихся в Жаровской земской школе до время совершенного прекращения свирепствующей болезни и о последующем уведомить меня для дальнейших распоряжений. *Января 2-го дня 1886 года.* Пристав Подпрунин».

«В дирекцию народных училищ X—ской губернии. Г. Инспектору народных училищ. Учителя Жаровского училища Фортянского заявление. Честь имею довести до сведения Вашего Высокоблагородия, что вследствие отношения г. Пристава 2-го стана за № 1011 от *2-го января*, появилась в селе Жарове эпидемия скарлатины, о чем имею честь Вас известить. *12-го января 1886 г.* Учитель Фортянский».

«Г. Приставу 2-го стана N—ского уезда. Ввиду того, что скарлатинная эпидемия прекратилась уже месяц тому назад, к открытию временно закрытой школы в селе Жарове с моей стороны препятствий не имеется, о чем я уже два раза писал в управу, а теперь Вам пишу и покорнейше прошу обращаться впредь с Вашими бумагами к уездному врачу, с меня же достаточно и одной земской управы. Я занят с утра до вечера, и у меня нет времени отвечать на все Ваши канцелярские измышления. 26-20 января. Земской врач Радушный».

«М. В. Д. Его Высокоблагородию Господину N—скому Исправнику Пристава 2-го стана. Рапорт. Имею честь препроводить при сем отношении г. Земского Врача Радушного от 26 января за № 31 на предмет рассмотрения Вашего Высокоблагородия о предании суду лекаря Радушного за неуместные и в высшей степени оскорбительные выражения, употребленные им в официально-служебной бумаге, как-то: «канцелярские измышления». 8-го февраля дня 1886 г. Пристав Подпрунин».

Из частного письма г. Исправника к приставу 2-го стана: «Алексей Мануилович, возвращаю Вам Ваш рапорт. Прекратите пожалуйста Ваши постоянные неудовольствия с доктором Радушным. Такой антагонизм по меньшей мере неудобен в положении полицейского чиновника, обязанного блюсти в сношениях прежде всего такт и умеренность. Что касается бумаги Радушного, то не нахожу в ней ничего особенного. О скарлатине в с. Жарове я уже слышал и в ближайшем училищном совете доложу о неправильных действиях учителя Фортянского, которого считаю главным виновником всей этой неприятной переписки».

«М. Н. П. Инспектор народных училищ X—ской губернии, № 810. Г. Учителю Жаровского училища. На представление Ваше от 12-го января сего года, поставляю Вас в известность, что уроки во вверенном Вам училище должны быть немедленно прекращены и ученики распущены в отвращение дальнейшего распространения скарлатины. Февраля 22-го дня 1886 г. Инспектор народных училищ И. Жилеткин».

По прочтении всех документов, относящихся к эпидемии в селе Жарове (а их, кроме здесь напечатанных, имеется еще двадцать восемь), читателю станет понятным многое из следующего описания, помещенного в 36 № X—ских губернских ведомостей: «...покончив с чрезмерною детскою смертностью, перейдем теперь к более веселому и отрадному. Вчера в церкви св. Михаила Архистратига происходило торжественное бракосочетание дочери известного бумажного фабриканта М. с потомственным почетным гражданином К. Венчание совершал протоиерей о. Клиопа Гвоздев в сослужении с прочим соборным духовенством. Пел хор Красноперова. Оба молодые сияли красотой и молодостью. Говорят, что г. К. получает в приданое *около миллиона* и, кроме того, еще имение Благодушное с конским заводом и с оранжереями, в коих произрастают ананасы и цветущие пальмы, переносящие ваше воображение далеко на юг. Молодые тотчас же после венца уехали за границу».

Как приятно быть бумажным фабрикантом!